



6

0

3

7

8

Altman

АУКЦИОН

5186



СУХУМИ АЛАШАРА 1990

Аз

Редактор Ольга Винокурова
Художник Георгий Баронин

КОЛ. АВТОРОВ. Аукцион. Сб.: Рассказы. Стихи. Статья. Сухуми: Алашара, 1990. — 121 с.

Авторы сборника не связаны общностью художественных устремлений, не составляют группу единомышленников.

Каждый отстаивает свою индивидуальность и уважает право другого на самоопределение.

Книга издана за счет авторов



Даур ЗАНТАРИЯ

Самый колоритный представитель местной богемы. Родился и вырос в с. Тамыш, московский лоск приобрел на Высших курсах сценаристов. Меломан, завсегдатай кофейен и член СП СССР.

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ

Я встретил англичанина в Сухуме.
Я смело пригласил его в кофейню.
Он сносно говорил по-русски,
(Уж не эстонец ли, мелькнуло подозрение).

Толпа зевак нас тут же окружила,
Но я спокоен был:
Мы говорили только о лекарствах.

Он жаловался на стенокардию,
И я из вежливости щупал сердце под рубашкой,
Смущаясь, что и она английского изделия.

И, визитную карточку вручая,
В далекий Лондон он пригласил меня.
Как выйдешь, дескать, как с поезда сойдешь,
Каждый укажет тебе, где живет одинокий Джордж!

Самоуверенный интурист,
Не заманишь ты меня на свои острова.
Да я там задохнусь от туманов!
Я на первом же рауте виски без соды напьюсь!
Я королеву оскорблю
(Совершенным незнанием вашего этикета!)

Нет, лучше ты езжай к нам ежегодно
И валютой плати.

ДОРОЖНОЕ

Ехал я из горного селенья.
Все сидели. Я один стоял.
Я — себе и всем на умиление —
Место уступил и потерял.

Женщина, которой дал я место,
Поступая как горянка-мать,
Усадила своего балбеса,
А меня оставила стоять.

Сваны гордые курили «Приму»,
Дети засыпали на мешках.
Неуклюжий я стоял и длинный.
Надоело мне. И в двух шагах

От моста остановил машину
И билет швырнул через плечо.
Постоял автобус нервно-чинно.
Спорили в нем люди горячо.

А пешком пройтись ничуть не плоше.
Можно любоваться на натуру.
Может, этот камень здесь положен,
Чтоб присесть усталому Дауру.

Камень этот, оценивши на вес,
Я поднял и взгромоздил на плечи.
Надо мной в автобусе смеялись
И в меня бросали злые речи.

И под грузом я склонился низко,
И с собой и с целым миром споря.
А когда рассеялись все искры,
Я вдали увидел стену моря.

* * *

Стоит мне поставить на подсвечник и подпалить
Ароматическую палочку «сделано в Индии»,
Как тотчас обитель моя наполнится
Ароматом далекой реки по названию Ганг.
И поплыву по старинной Шелковой дороге
Из Магомета в Будду.
Озарения колокол
Загудит и затихнет во мне навсегда
Со всеми моими страстями.
По повеленью гуру,
Которого тут же, в Бомбее, найду,
Я буду лететь через весь Индостан на Боинге-707,
Затем путешествовать на слоне, понимающем все
с полупалки,
А дальше пешком, влекомый улыбчивым спутником,
По пути отвергая старинный обряд гостеприимной
проституции,
Пока не дойду до Тибета, где тигры и йоги,
И там буду стоять на ушах, просветленный и мудрый,
Не замечая случайные пули индийских маоистов,
Проходящие сквозь меня.

«Равнение на женщину!» — лихой сержант орет;
 Сам впереди шагает и честь ей отдает.
 И все помыты в бане, и ждет в столовке плов.
 Молодцеват их топот и поворот голов.
 Она ж глядит смущенная и чем-то машет там,
 Как в ожидании выстрела отпрянув к воротам.
 Греми о мостовую, чтоб искры зажигал!
 Прости прохожим праздность: ведь каждый отшагал...
 В казарму строем рота! Дышите в унисон!
 С трехкратного отбоя так сладок будет сон.
 А там приснилась женщина. Ты начинаешь звать.
 Испуганный дневальный трясет твою кровать.
 Ты наконец проснулся. О как тебя знобит!
 В двухъярусных постелях тревожно рота спит.

КАПРИЗ АКТЕРА

На премьеру проданы билеты,
 Зрителей с наушниками — рать.
 Мой каприз и первый, и последний:
 Не желаю Гамлета играть!

Правлена уверенной рукою
 Жизнь моя, как школьная тетрадь.
 Пусть не в пору, но прошу покоя,
 Не хочу я Гамлета играть.

Братцы, я играю непохоже,
 Падаю, хватаюсь за бока.
 Гамлеты правительственной логи
 Для приличья хлопают слегка.

Надоело длинными ночами
 Длинный текст с купюрами марать.
 Я всего лишь скоморох печальный —
 Не желаю Гамлета играть.

Я боюсь, сегодня сил не хватит
 Падать, громогласен и кровав.
 (Завтра рецензент меня расхвалит,
 В скобках мои титулы назвав).

Режиссер кричит: «Скорей на сцену!»,
Да коллеги стали напирать,
Но я твердо знаю себе цену
И не стану Гамлета играть.

А помрежи силу применяют.
Вижу: тут упорством не возьмешь.
Зрители отлично принимают!
Для приличья кланяюсь. Но все ж

Я не дам той ложе насладиться.
Словно звери в чашу, умирать
Уползу нарочно за кулисы —
Не желаю Гамлета играть!



Лиана ПАНЦУЛАЯ

Живет на Келасурском холме. Поет свои стихи под гитару и играет в народном театре. Инженер и задумчивый меланхолик в системе собственных отражений. Печаталась в альманахе «Дом под чинарами».

* * *

Я войду в эти двери резные, веткой взгляда касаясь луны.
Напою свою комнату садом и букетом ночной тишины.
По причуде грядущего неба расцветает жасмин и сирень,
увлекая излишек прохлады в свою чёрную лунную тень.
На границе листвы и пространства, на пороге чужой
красоты
задержался мой взгляд не случайно, не постигнув иной
правоты.

Там, за гранью туманного зренья, обитает в цветенье
жасмин,
обдавая струёй аромата в нише сумрака киндзу и тмин.
В этот шелест листвы виноградной, где не старится
детство земли,
сквозь дрожащее марево сада и дымок догоревшей золы
вдруг ворвётся извне и промчится, словно страхом
объятый табун,
нарастающий гул электрички мимо гор, за местечко
Тхубун.

* * *

Он знал, что умрёт. Он готовился к смерти спокойно: последней весной выходил на пустеющий двор и взор направлял с незнакомою кротостью в стройный порядок цветов и в просвет меж синеющих гор. Он думал: Скорей бы всё кончилось, боже, скорей бы. О, как хорошо! Просыпаюсь — меня уже нет, и слабой рукой подстригал виноградник, и скрепы готовил для веток, и в доме налаживал свет. Он думал о том, чтобы смерть его, тихо свершившись, доставила близким поменьше забот и хлопот, и долго прощупывал пальцами корень отживший, и долго смотрел на сарай, где лежал независимо кот. Он к смерти готовился, будто работал: подкрасит, подпилит..

Жена да безмужние дочки готовили ужин к шести. И мысль беспокоила: некому вырыть могилу, и нет сыновей, чтоб на кладбище гроб отнести.

ЭЛЕГИЯ

1

Пока мы живы, в этом мире живы,
пусть будет день ваш грустный, но счастливый.
Да будут звёзды вам сопутствовать, а я
утешусь тем, что эти южные края
вы вспомните, и веточка крапивы
напишет слово. В этом слове я
воскресну.

Кто виноват? Не знаю. Не решусь
найти, назвать причину. Их так много.
А кто-то неизвестный у порога
нас ожидает, окликает нас до срока.
Да это просто ветер, — поспешу
сказать вам. — Это белая дорога
нам выпала откуда-то, истока
не указав.

В цветах гвоздики завершают путь созвездья
и гаснут. Прошлогодня весна
чуть теплится в ветвях, и капли-вести
вот-вот на лист бумаги прямо с ветки
готовы пасть. И в чём-то есть вина
моя вот здесь, на этом свете.
Простите.

Сказать — «прощайте». Это невозможно
уже. Ведь были встречи. Одному
лишь богу ведомо и зримо почему,
а мне и вам соприкасаться осторожно
в прошедшей вечности без обещаний ложных.
Ведь были мы и дождь, и потому
не говорю — прощайте.

* * *

Плыли звёздные реки в просторах, вымывая созвездья
и прах,
и воздвигли лицом на два света белый храм о семи
головах.
Как в узилище недр, в нем совпали и сошлись чистых
линий лучи,
и легли на холодные стены столетья, как тень от свечи.
Здесь, в его пустоте, совместились поступь неба
и сердце в крови,
идеал и тщета совершенства, и глагольные угли любви.
И когда этот храм разрушали, он вознесся, как столп
золотой,

и, висясь над бессмертьем развалин, он повис в облаках
над землей.
Мчатся звездные реки в просторах, вымывая созвездья
и прах,
а над миром висит, полыхая, белый храм о семи головах.

* * *

Я провела тебя через овраг.
На дно ручья срывался шелест листьев.
Твои шаги, и тень, и лунный мрак
теперь там долго будут шевелиться.
И я не знала, что со всех сторон
овраг меня окружит, будет длиться
в моих глазах, и заслонять балкон,
и шелестеть, как вечная страница.
Что в дом войдет, и примется журчать,
и свет прольет на потолок и стены,
и на полу, на окнах, как печать,
оставит влажный след и тени.
Сквозь бьющий свет я неба не увижу.
Здесь все оврагом стало и тобой.
Окно и стены будто те же с виду,
но этот шелест, шелест надо мной.
Ты в дверь войдешь. Откуда эта тина?
Откуда эти листья намело?
И певчая испуганная птица
ударится о тонкое стекло.

* * *

Вслепую, вполсебя, не зная брода,
кустарщиной занявшись для души,
но, убоявшись тлена, год от года
в провинции и, вроде, не в глуши
мой ум на ощупь, застревая в дебрях
и в зарослях плутая и влачась,
утихомирив сдавшиеся нервы,
где истина тепла и горяча
не углядел и проглядел мировоззренье,
всё исчерпавшее, объяввшее вполне,
но не ослепло моё пристальное зренье,
и я плыву, как чайка на волне.



Николай АЛХАЗОВ

Недавно отпустил бороду. Почтовым голубям предпочитает лук и стрелы. Студент МГУ. В густой тени современной цивилизации пытается вычленить виноградные полутона.

Р а с с к а з

... О-о, что же это будет? ... А что бывает, когда восходит Солнце? ... И Вы хотите, чтобы оно восходило и Вам? ... Тогда пусть будет так...

Н.

На черной глади вод, где звезды спят
беспечно,
Огромной лилией Офелия плывет..
Ар т ю р Р е м б о

В

Я ей нравлюсь. Это я читаю в ее глазах. Даже фотография, что висит на стене, внушает мне эту мысль. Рембрандтовский разрез глаз, веером спадающие волосы, застывший взмах тоненькой ручки и едва уловимый, со вздернутыми уголками, разлет маленьких жарких губ.

Это — она.

О

У воды карающий символ одиночества — плакучая ива. Моя амальгама чувств возбуждаема порывами ветра. Стояние около — бьющаяся белопенность волн — определение состояния: муторность от подступающей к горлу тошноты и щекочущее вздрагивание грудной мышцы от восприятия действительности. Отчаянное болтание одежды, соль взлетающих брызг на лице и вишневость опадающего дня.

Это — я.

С

И небо очистилось, стало свободным. Очень много свободного пространства. Желая думать и существовать, выходит — раздвоение личности. Когда это было впервые? Фруктовый сентябрь внушал жизнь, кружился бликами в густой листве, ходил по городу, напоенный людьми, пел их голосами, смеялся и желал. Тогда я ворвался в аудиторию, желая лишь ощущений от долгожданных послелетних встреч с, летал над землей и был по-своему счастлив.

Новое лицо высветило смышленные раскосые глазки, блеснуло ожерельем рта и... всё. Кажется именно тогда всё кончилось. Я понял, что отныне летать одному мне будет не под силу. Я понял это и превратился в то, что я сейчас есть, я превратился в конопляное семечко — дурман жизни мне стал терпким.

Господи! Какое сладкое наваждение от боязни, от случайности, от головокружительной высоты ее глаз.

Х

Головокружение на высоте ее глаз. Крик совы, наполненный ночью и звездами. Несколько снедающих безумием мгновений вечности. Неудержимо влекло быть,

кричать, страдать, разбиваясь вдребезги, повторяясь каждое утро, день, вечер, ночь. А ночью — всякой и земной — рождались сны. Пылающая смеженность губ, выражающая единственное свойство — близость в.

А весна? Возвращенная веткой первой сирени для. И чудо, чудо, чудо, ставшее осязаемой плотью.

О

Что было потом? А что было потом? Прозрачный май и долгая дорога в лето. Желтая луна в вагонном окне. Тюльпанное море. Чьи-то города. Безмолвное искушение в одиночку.

Д

Солнце высохло, его нет. Оно испарилось! А дождь все льет и льет. Серый дождь. Серые лица. Серые деревья. Серый город. Серое море. Серый мир. Серая вселенная. Шуршит, накрапывает вечный дождь... и день, как год... И жизнь длиною в прошлый год. Безудержная безрассудность бездействия.

Житейский бред состоит в том, что мы разучились верить и понимать окружающий нас мир как нечто целое и хрупко индивидуальное. А наша жизнь похожа на воздушный шар.

Я

Новый сентябрь стал лишь воспоминанием о сентябре прошлом. Предчувствие и на этот раз не обмануло меня. В ней появилась осторожность, или настороженность. Она не вспомнила моего лица. Я стал частью общего, которое принимаешь вне зависимости «я» личного. Она стала молчалива и замкнута. И я испугался. А что мне оставалось? Лишь отражение в стекле распахнутого окна. Рассеянность, наверное, выдавала меня с головой, но смутить уже ничто не могло. Что ж, решил я, от судьбы не уходят, от нее временно прячутся. Я решил любить сам. Был ли это выход?

Щ

В первый раз стихи написались случайно. Еще год назад, тем сентябрем, о ней. Но откровение не спасало. Она должна была знать, что я и как к. Какие это были

мгновения. Ее скольжение мимо, взгляд, устремленный не на, а как колошматилось в груди сердце, как хотелось очарования ею, беспробудного очарования, общения с и вечно. Легкое качание головы, дерзкий разворот плеч, так, чтобы виден был профиль, и звук умирающих коридорных шагов. Не уход, восхождение надо мной, над любовью.

А

Теперь, я верую! не так. Я ловлю ее, обессиливающие моё, взгляды живущих глаз. Я дышу ее воздухом, я внушаю себе все ее иллюзии и лица, я иду за ней, я восхожу вместе с ней, я — люблю ее!

Я

... Восходящая над миром, она как неизбежное приняла ночь. Рожденная на рассвете, она ушла в ночь. Она ушла в ночь, чтобы стать сияющим Солнцем...

All you need is love! Beatles¹.

¹ Все, что тебе нужно — это любовь! Битлз.



Евгения ЧЕРНОВА

Живет в Гагре. Знает свою родословную до седьмого колена. Склонна к мистическим интерпретациям. Решительна и своевольна. Автор либретто рок-оперы «Принц Ольденбургский». Печаталась в альманахе «Дом под чинарами».

МОЙ СОАВТОР

Мы пишем с теплой осенью вдвоем,
Подругою серьезной и печальной,
Про детство,
Про любовь,
Про старый дом...
Она — последний слог,
А я — начальный.
Подумать только! —

Много,
Много лет
Мы связаны.
Талант,
Упорство,
Силу, —
Все в ней я нахожу...
За взлет и свет
Я горькие обиды ей простила.
Сейчас ведем мы тихий разговор,
Такая тема:
Старый дом и детство.
Но чуть коснусь любви,
И гнев,
И спор!..
Я уступаю.
Где слова?
Где средство?

ПОВТОРЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Скопление листьев у бордюра,
Сухой, обветренный платан,
Подобно тонкому гипюру
Меня фатою оттенял...

За потемневшею чертою,
У края дня,
Где волнолом,
Казалось, юные герои
Плывут за Золотым Руном...

Лиловый сумрак,
Шаг по склону,
Ступень...
И на плечо легла,
Как прежде на судьбу Язона,
Медеи смуглая рука.

ПОИСКИ

Вращаются невидимые грани.
События и образы хранят
Защиты нет!

Воспоминанье ранит...
Но не коснется эта боль меня.
Другой земли разыскивая след,
Спешу уйти,
Бег времени — игра,
Игрушечная пирамидка лет
Построится,
Развалится...
Пора
Сознательно покинуть тесный круг
Реальностей,
Сей заповедник тьмы.
Придумать смерть,
Придумать жизнь,
И вдруг —
Увидеть свет,
Где обитаем мы.

СУДЬБА

Рог трубит,
Зовет,
Вещает.
Много ярких,
Теплых дней
Лето пылко обещает,
А глядишь —
Сезон дождей!
Ночь, неся обман, погубит,
День в работе оглупит.
Обо мне любовь забудет,
Сожаленье навестит.
Продолжительность эмоций —
Польза в творчестве...
Увы!
Положительность приносит
Отрицательность судьбы.
И под сенью олеандра
Серебром монист звеня,
Неудачница Кассандра
В жизнь напутствует меня.

ТАК Я ВИЖУ

В каждом камне,
В каждой капле —
Тень угаснувшей звезды.
Отклик памяти,
Внезапный,
Долетит из темноты.
В малом круге
Малых знаний —
Прикасаемость вещей.
Разум — царственный изгнанник
Интуиции,
А в ней
Отражается тревожный,
Зыбкий мир,
Где все есть я...
И почти что невозможна
Или призрачна Земля.

О ПРОШЛОМ

В углублении зеленом,
В гребнях пальм,
На склоне дней
Дремлет в прошлом
Дух исконный
В Лету канувших семей.
Дом старинный,
Вязь балконов,
Рой амуров-близнецов,
Сводов низкие поклоны,
И парадного лицо.
Сад,
Газоночная ваза,
Сеткой крапчатый самшит,
И стрелец под сенью вяза
В одиночестве стоит.
Здесь, устав, непримечаем,
Все вздыхает над водой,
Головой-листвой качая,
Запустения покой.
На ступенях время дышит,
Под морщинами храня

Смех и говор,
Капли с крыши —
Слезы летнего дождя.
Кружит в мраморе холодном
Хвои колющий настил —
Спит фонтан,
Без жизни водной
Руслом высохшим застыл.
Теплых пятен нежный отзыв,
Мхом, как шубой, лавр согрет,
Из лучей, скользящих к дому,
Сложен бронзовый букет...
Двери в прошлое, —
За ними,
В череде ушедших дней
Обитает призрак пыльный
В Лету канувших семей.

СОВМЕСТИНОСТЬ

Все из ее глубин произошло.
Мне показался путь ее недлинным,
Она владела временем легко,
Играла в осень,
Парком став старинным.
Она умела словом рисковать,
Ее мечтанья табуном носились,
Старалась скрыть печаль,
Боль отогнать,
А дни за нею по пятам ходили,
Как дети,
Удивленно глядя вслед...
Совместность не отбрасывала тени!
Она существовала как секрет,
Располагая свет в осенней лени.
О, как она была еще юна!
И легковерна...
Словно забавлялась,
Следя за мной.
Да только знала я, —
Что ей недолго праздновать осталось.



Игорь ГЕЛЬБАК

Физик, прозаик и драматург. Тонкий ценитель жизненных реалий и комфорта, отдающий дань бродячему духу экзистенциализма. В настоящее время живет в Австралии.

* * *

Выпито ночью вино, прощается каждая капля
С горлом пустого стекла,
И винноцветное завтра стынет оскалом зеркал
В зеленых квадратах бильярдной.
Стуком шаров костяных бросается в утренний берег,
Где солнце в сырых деревьях,
Где лодки во влажной дрожи
Ежащегося моря...

* * *

Гора сырой ступенью сада
Спустилась в моря синий гул.
Пятнистые кусты раздвинув,
Соленый воздух сад вдохнул.

И лестница крадется шатко.
Из сада прочь, — покуролесив, —
Бурея, цвет бредет по листьям,
У ветви старой кожей треснув.

Где лестница к земле клонится
И бредит листьями ограда,
Вдыхает солнечные блики
Сырая туча винограда.

* * *

Глаз прорастал дневной свечою
И лестницею опадал,
И света восковой слезою
Он половицу прожигал,
Смолою падал мне в ладонь
И согревал пролет холодный
Холодной лестницы глухой,
Жужжащий, синий и свободный.



Гильда АБРЕДЖ

Режет по дереву и камню. В собеседниках ценит внутреннюю независимость. Тяготеет к природе, как олень к воде. Преподаватель английского языка.

ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ В «ЧАЙ-ХАНЕ»

Р а с с к а з

После занятий в школе подъехала Н. к столовухе типа «Чай-хана» пообедать, удивилась тому, что она такая маленькая, как домашняя столовая, людей было негусто, все ели темпераментно и лицезрели друг друга.

Н. взяла только второе, так как она, хищница от стола, мясо любила, и села обедать.

Из кухни появился молодой повар в мини-халате почти белого цвета, прошелся походкой, будто индюк клюнул его понятно, куда. Сел напротив Н. и начал лице-зреть.

Вошел старик с щеками, впалыми, как живот у голодного животного, приостановился, как бы поклонился обедающим в знак приятного аппетита. Посмотрел вокруг и, увидев повара, спросил:

— Сынок, что у вас есть пообедать?

— Я не справочное бюро.

Старик сник, махнул рукой, подошел к окошечку, а оттуда прошипел женский голосок: «чек!»

Не понимая, чего требуют от него, разведя руки, смущенно и обреченно старик спросил:

— Какой же чек, слушайте, я есть хочу!

Но тут блондин с улыбкой, застенчивой, как подсолнух под утренним дождем, объяснил ему все спокойно и вразумительно. Н. была приятно удивлена, что милостивый и к тому же благородный опередил ее желание, и глянула на него, как на старого приятеля, с благодарением.

И она продолжала трапезу, обдумывая, как странен мир человеческой души, множество вопросительных знаков стало в одну шеренгу, почему-то злоба ищет злобу, как подругу, но в минуты безысходности случай выбрасывает спасательные круги. Н. подцепила очередной кусок мяса и стала сражаться с ним, стыдясь, что эта война в зубах заметна другим.

Пообедав, поднялся старик и, глядя неопределенно на соседей, сказал:

— Я не столько поел, слушайте, сколько туда-сюда ходил.

А наш повар, которого индюк обидел, сидел и все поглядывал на Н. из-под густых черных ресниц, как из-под руки, и подметив, что хищнице с мясом справиться нелегко, улыбнулся гордо-ехидно, мол, он ест не такое мясо.

Перехватив его надменность, Н. сказала:

— Подливка вкусная, спасибо, а вот мясо ни за гриву, ни за хвост не растянешь.

Он глянул на публику и ответил, как из испорченного громкоговорителя:

— Это у тебя зубы не тянут и не рвут.

Н. поднялась, как ободранная ворона, припорхнула к нему и прошептала ему клювом по темечку:

— Мои зубы, молодой человек, потянут даже вашу репутацию и разорвут.

Присутствующие взорвались аплодирующим смехом. Повар вскочил со стула, скрипя зубами, она отступила, а двое перехватили его за руки, спасая женщину от неминуемой беды, не подозревая, что спасают его.

Н. дошла до двери спокойно, метнула взгляд его ошалелым глазам и сама же почувствовала, как проняла его обезображенную дергающейся головой внешность.

На улице она зажмурилась от апрельского света. Открывая дверцу машины, она услышала сзади шум, обернулась и застигла повара на переломе — белая «Газ-24», блестящая, без единого пятнышка, сделала ему подсечку.

Он разъехался в улыбке и выговорил:

— А-а, извините, пожалуйста, извините!

Н. сказала:

— Не знаю, как вас зовут.

— Э-р-р, — выпалил он.

Она тоже представилась и добавила:

— Во-первых, мой совет вам, будьте добрее, вежливее, вы подаете еду людям, и запомните, к вам приходят все очень нервные, потому что голод выдергивает из равновесия любого человека.

— Вы ахара-кара женщина, а я дурак, — сказал он и помог ей захлопнуть дверцу, а потом стоял, пока она не отъехала.

ИЗ ПРЕСЛЕДУЮЩИХ ПО ПЯТАМ ВОСПОМИНАНИЙ ДЕТСТВА

Р а с с к а з

Снежные папахи набекрень, шапки в узелок — крыши маленького аула гоняют дым древесный, как меха, улыбающиеся окна сквозь ограды и затаившие дыхание под тяжестью снега сады.

Воздух жжет, как молодая крапива.

И дети на вечерней сходке обсудили все, как взрослые, и с картошкой, с сушкой, а кто и с пленницей — голову под крыло, чтоб не выдала, побежали, набирая шум и скорость за чертой аула.

Спешат они по глубокой тропинке сугроба, к лесу на пороге ночи, и бежит детвора послевоенная, обездоленно-счастливая, кто в чем и кто с чем, по тропинке той, как по горячему песку, а впереди пылает костер, и вокруг безымянное созвездие цыган.

Разрываются звуки гитары по белому полю, и лошади, фыркая, выкуривают морозный воздух.

Подходят дети к толпе у костра, толкая друг друга в знак покорности, падающий белизной снег поглощает темноту, лица у взрослых джунгли, у самой старшей, смакующей трубку, и взгляд, и волосы горячего пепла.

Пляшущей пары силуэт уводит снег туда, где демоны табора в ночь истязаний плетут венки для звездных невест.

Пришлые делятся с детворой цыган, взрослые уступают пляски детям.

Выходит из расшитой палатки скрипач, бессмертно-статный, как римский жест, сросшиеся брови — два копыя в схватке, и поднимает он мелодию скрипки щедро к луне, и та роняет лунную. Внутреннее внимание обрывается у всех воем и перекличкой волков, как из пещеры.

И вдруг закачалась напротив палатка, еще и еще сильнее, выскочила старушка, открыла рот широко, и рухнула палатка. Задребезжали кастрюли, сковородки, обрвалась музыка, все взоры обратились на вздымающуюся, как туча, со всей необъезженной яростью и силой черную борзую, которая крутила сани, как ошейник, пытаясь избавиться от рока и взлететь к черту на рога. Но у рока свой аркан, накинул его молодой цыган, тоже борзой-борзея, кнутует коня, плачут дети, он пришпоривает и их, рассекаются губки у девочки, и кровь, как молоко, опускается кнут, бранятся громко женщины, другие поднимают палатку, а пришлые — костер. И снова скрипач оглашает музыку, и снова вступают в пляс и выплясывают незакатную, танец жизни, каждый в одиночку со своей судьбой, со своей, что было, со своей, что есть, и со своей, что будет.

Уже ночь глубокая, отрываются пришлые домой с щемящей грустью, звеня подарками — цепями и бубенцами, и таборная по пятам.



Гунда КВИЦИНИЯ

Осенью привыкает к бессоннице и обостренному ощущению жизни, запах моря скитается по ее ладони, как странник пустыни. В одиночестве ищет пространство и прелесть дружбы. Автор поэтического сборника «Томление».

* * *

Эта дорога была моим голосом,
моим звуком;
когда я кричала,
она покидала мой рот,
и люди бродили по ней, как родичи,
а когда они исчезали,
она возвращалась назад.
И мои семь последних лет,

как семь человек, раздвинули небо,
кто из нас — я?
И когда оно вновь сомкнулось,
для меня наступил конец.
Если я проживу еще семь лет,
я назначу праздник разрушенных дорог,
и проклятье исчерпает свой срок.
Когда люди покинут дорогу-голос,
похороните меня под людьми,
а подо мной будет нежно расти
мясо земли.

* * *

По доскам
я разбирала наши дома,
и кровати людей
открыто стояли в ночи,
как будто для них рассвело,
как будто открылась для них
калитка неба.
Их свобода лежала на их плечах,
чтоб они не могли удрать отсюда,
они — измученные мучением в своих домах,
я — измученная мучением в своем доме.
Кто разберет мой большой дом
и свободу на плечи положит,
а легкую мою несвободу
кинет под ноги...
Я тоже, как эти кровати,
встану в ночи,
где-то посередине поло-потолчности
своей свободы.
Между кожей моей и мясом — ветер,
между сердцем и кожей — кровная месть,
я не знаю, как они кончат.
Между сном и смертью
я не сплю и не умираю.
Я не сплю и не умерла,
а голос мой встает с постели
и подходит к кровати каждого.
Мы сидим в постелях своих,
как церкви,
положив на плечи тяжесть свободы.

* * *

Цветбесцветногоцвета —
тоже цвет.

Мой этот цвет, и я невидимка,
взгляд мой туманен, и в этой дымке
дождь идет не переставая.

Я рука, открывающая окно,
ты рука, что должна закрыть,
и твое отсутствие снова,
как залитые ливнем костры.

Я твой цвет, посмотри же в зеркало,
я с тебя стекаю на землю,
Цветбесцветногоцвета Гунда,
ты собственность неба.

* * *

Осень, боюсь я
твоего ухода,
как боялась твоего возвращения.

Все переносит земля:
и лето, и зиму, и весну, и осень,
лишь со мною не знает,
что делать.

Бой часов моих не дает мне уснуть,
повторяя: «Кто ты, кто, кто ты?»

А я пятая часть года,
проходящая между домами,
я узнаю тебя по бою твоих часов,
как меня узнают по крику летящих птиц.

Мне часы не дают уснуть,
разделяя, как время,
на глухие периоды ночи.

И луна поднимает мою тень на стене.
Вернись же, осень,
без тебя моя тень темнее.

* * *

Под дождем без зонта,
чтобы, как лошади, стать
продолжением дождя.
Дождь — конь — человек.

Пастбище дождя зеленое, летнее,
и зеленое летнее сердце в груди у меня.
Ах, почему я не встретила
всадников дождя и людей дождя.
Я держу огромное небо-зонт,
но у нас дождь идет лишь над спинами лошадей.
Если кончится дождь, то знайте —
он идет внутри лошадей.
Лошади стоят под обрывом дождей,
Я стою под зонтом,
дождь — конь — человек под небом.

* * *

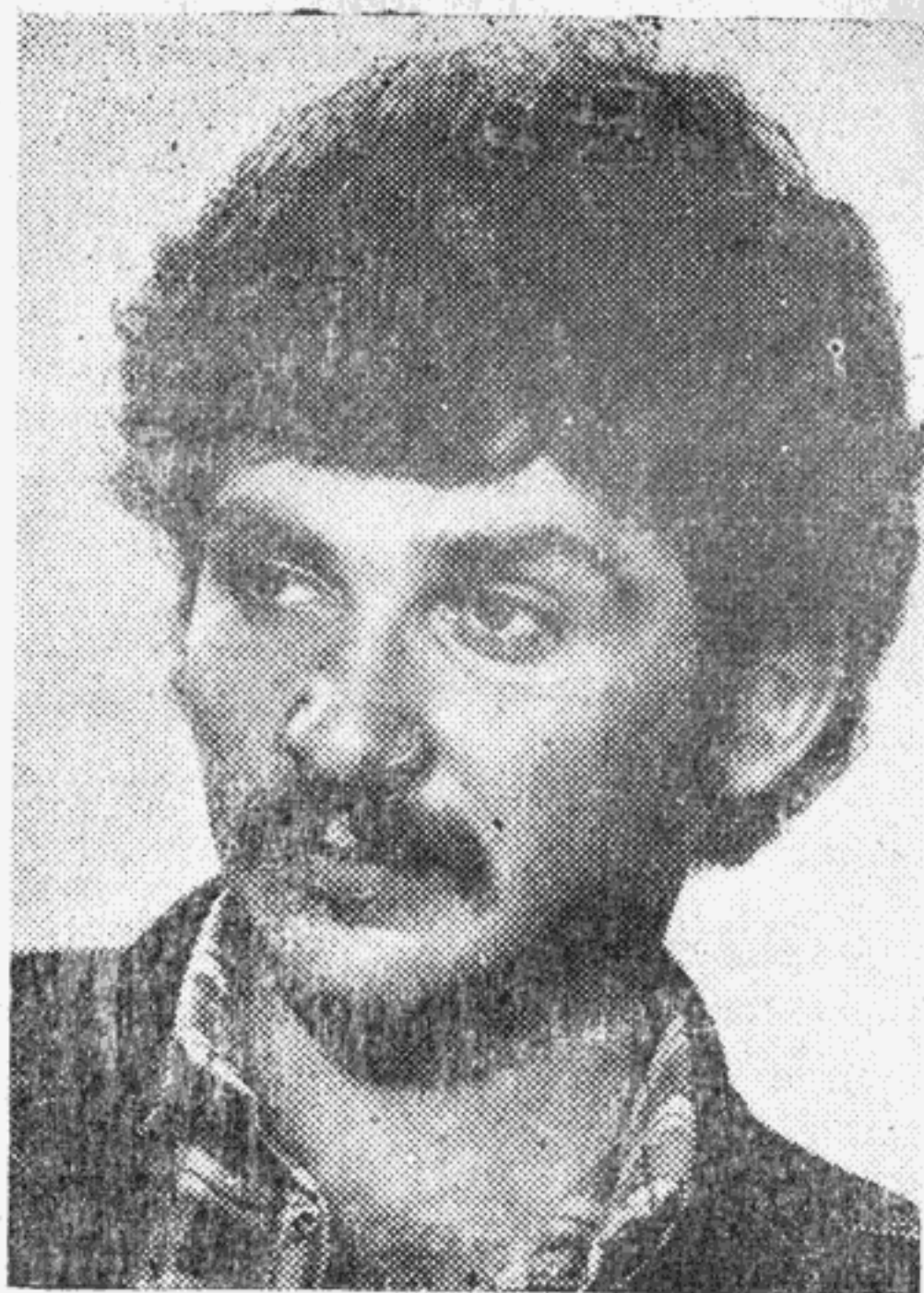
Ты стоял впереди меня шагов
на десять, я тосковала десятью шагами,
Ты не видел меня,
В твоём одиночестве я другое угадывала.
Я боялась, что ты уйдешь еще на десять шагов,
и пространство тоски моей вырастет вдвое.
Ты не видел меня,
В твоём одиночестве продолжалась моя неволя.

* * *

Я шла, спотыкаясь о небо,
и море в ладонях моих плескалось,
как воздух в окне,
я его проливала нечаянно, как иногда
свои мысли.
И пили какие-то люди,
но жажда их не оставляла,
они уходили в поле,
проступая травой, как исподним,
и лошади паслись, наполнив
глаза свои огнем зеленым,
спутав траву с морскою водою.
Наши лошади, зелень их глаз бездонна,
и мы, чьи глаза ожиданием околдованы.
Я не хочу ожидать напрасно
тех, кого нелегко ожидать.
Ваше божество — Тщета,

Мое божество — Тщета.
Я шла, спотыкаясь о небо,
и море в ладонях моих плескалось,
как в глубине стакана-окна.

Пер. с абхазского Н. Венедиктовой



Игорь СКРИПАЛЬ

Неприлично молод со всеми
вытекающими из этого
последствиями.

МЕДПУНКТ. ИЮЛЬ

(Из записной книжки солдата)

Р а с с к а з

«Что уж говорить о жизни, если сейчас, в настоящий момент, живется неплохо, лучшего желать не хватит духа, и вернуться к прежнему состоянию — тоже не фарт?

... Витя, конечно, здраво рассуждает о приобретенных и завоеванных ценностях, о человеческом такте, о Вселенной и т. д. Однако, почему-то берут сомнения, что такт используется им в жизни как гвоздь программы. Однажды его разозлило, когда я сделал многозначительное лицо и помахал руками в то время, как он сражался в шахматы с шефом, — и после высказался на эту тему очень недобро. Свой проигрыш в этой партии Витюля мотивировал моим «вторжением», присовокупив в конце, что при поединке Карпова и Каспарова «даже было запрещено аплодировать». Потом, выговорившись на эту тему, он, что меня самого немало вывело из себя, заявил, мол, я, видите ли, мешаю его «спокойной и размеренной жизни», и медпункт — святое место! — становится «злачной точкой», «забегаловкой», и все «эти гнусные альбомы и кальки» — у него, у Вити, уже «вот здесь» — удар по горлу — и, если я не стремлюсь выписаться, то, очевидно, прекращу свои ночные занятия, так сказать, «творческие вечера». И это было бы ладно, ничего, если бы не коварное, злокачественное словечко — «такт». Не сомневаюсь, нашлись бы твердокаменные люди, способные выдержать сей пилеж, однако я — чрезвычайно нервный, несдержанный человек, и, несмотря на воспитанность и интеллигентность, способен при случае покричать и постучать по столу кулаком. И я покричал и постучал.

Я сказал, что вспоминать о такте — с его стороны — весьма и весьма нетактично: есть обстоятельства делающие слово «такт» в его устах бессовестной клеветой, циничностью, наконец, просто непорядочностью.

— Да-да, — сказал я. — Это просто непорядочно с твоей стороны: нагромождать на меня всю эту ерунду и при нечистой совести что-то там орать о такте и культуре, черт подери...

Витя возопил о «ночных посещениях», припомнил жалобу дежурного по части о «людях с вещами, тайно пробирающихся в медпункт», припомнил несчастные кальки, как доказательство моей беспардонности.

Потом, схватив за руку, потащил в палату, требуя объяснений: мол, что я имел в виду, говоря о его Витином непорядочном и нетактичном поведении. ... Баландин, моющий посуду, с интересом вслушивался в нашу перебранку, и кажется, ничего не понимал. Сгоряча Виктор потребовал объяснений при нем, но я заявил, что при «духе» ничего говорить не стану. И тогда Балан-

дин был безжалостно вышвырнут в коридор вместе со своими тарелками и кружками...

Витенька, солнышко, наверное, был на все сто уверен, что поведение его кристально, прямо-таки хрустит, как накрахмаленная простыня, и может вызывать только почтительное уважение.

И я ему ничего не сказал. Хотя мог бы многое припомнить... Например, был такой интересный случай. Получил я из дому посылку. По техническим причинам в роту ее нести было нельзя, поскольку — чревато. И я ее доверил Вите. Тот запер посылку в кладовке и сказал: «О, кей». На следующий день на равных паях уничтожаем все вкусное, оставив напоследок красивый, симпатичный ореховый торт. Договорились, что на завтра опять приду и с чаем тортишко-то и добьем. Сказано — сделано. Прихожу, как было условлено, открываю коробку — четверти торта как не бывало! В чем дело?.. Тут Витя и признался, что «не выдержал, отколупнул кусочек». Промолчал. Выпили чай с тортом. Ушел. Но случай этот до сих пор в сердце, как заноза, сидит... Вот, сами видите, кому-кому разводить философию о такте, но не Вите, как говорится, чья бы корова мычала, а его — молчала... Но — далее, как выражается любезный Андрей Маркович, глава третьего взвода (я — представитель второго, предводитель пшшш! — товарищ Полозов Владимир Евгеньевич, по кличке Уж). Итак, далее...

Далее необходимо маленько прояснить ситуацию, больно резко начат рассказ, и вы, может быть, недопоняли чего-либо или, еще хуже, вообще ничего не поняли. Поэтому, прошу прощения, придется сделать отступление.

Дело происходит во Флорищах, в захолустной дыре, затерянной среди болот и лесов. В воинской части, где я прохожу действительную воинскую службу, всюду процветают лодыричество, дедовщина и бардак. Хотя я сам считаюсь механиком-водителем, ни руля, ни рычагов видеть не приходится. Основное орудие труда — лопата, лом и тряпка. Работы несложные: начиная от ям и канав, кончая мытьем полов и укладкой бетонных плит для теплотрасс и дорожных бордюров. Работа творческая. Постоянно приходится соображать, как одновременно выполнить задачу и уклониться от нее, чтобы поспать под кустиком час-полтора. Обычно это удается. И овцы целы, и волки сыты. Одно только смущает меня. Часть — химическая. По идее, наше умение на-

тягивать ОЗК и пользоваться всевозможными химико-разведывательными агрегатами должно быть на высоте. Но — увы! — для нас это «темный лес». Даже простой, по словам знатоков, ГСП — уже «марсианская техника».

Ладно. Далее.

О «духах». Гонения «духов» в роте приобрели наивысший размах. Не скажу, что их избивают, мучат, заставляют носить ситом воду или, дав три рубля, требуют принести через час бутылку водки, — нет, гоняют культурно, без лишних пинков и зуботычин. Голос из угла:

— Баландин, ко мне!

Возник.

— Воды.

Исчез. Через минуту несется с кружкой воды.

По вечерам тов. Шумов, Баландин, Кайнов сдают за дедушек-дневальных наряд по роте, скребут в туалете, натирают полы — до тех пор, пока рота не заблестит. Спят бедняги обычно часа четыре, зато — какой порядок в роте!.. В третьей — 80% «духи». Однако — бардак страшнейший. Повсюду грязь. И куда только деды смотрят?..

О Вите. Витя — фельдшер. Еще начиная службу, он сумел чем-то приглянуться Ставинскому, назначенному начальником медпункта. Витя был немедленно обучен искусству делать уколы, наложения повязок и т. д. Теперь ходит и выпендривается. Да я!.. Кого хочу положу!.. Черт с ним, нехай выпендривается, лишь бы «ложил...» Ну вот... Пожалуй, пару слов можно вставить и о себе. Когда Данилов, врач, обладающий правом «ложить», определил у меня «флегму», сказал, что опухоль — «горячая» и записал в Книге больных — лазарет, то Шарамок, ротный, раскричался. У него, видите ли, не хватает людей, некого ставить в караул, что позволит «проваландаться» в санчасти не более трех дней. А я уже неделю спокойно лежу себе и в ус не дую, в потолок плюю.

Курс лечения не кончился. Следовательно, ни о какой выписке и речи быть не может. Приходили парни, говорили, что скучают, некому стихи читать. Выписывайся скорее, говорят. Хорошо, говорю, постараюсь. Да, постараюсь полежать здесь как можно больше. Отпуск не светит. Заслуг нет. Стало быть, хоть в санчасти от-

дохну, чуток выплусь после караулов. А то — через день в наряд. И так все время. С ума сойти! Оглянешься назад — оторопь берет, и как это я выдержал, не сорвался...

Говорят, здесь, в медпункте, неплохо; скучновато, пожалуй, только. Но — скажу прямо, мне скучать не приходится. То стихи пишешь до одури, то товарищ Ставинский, ворвавшись смерчем, вызовет на дуэль в шахматы. И мы сражались. Если проигрывал он, виноваты оказывались женщины, «которые заколебали», спать не давали, выжали все силы и т. п. Если проигрывал я, он именoval меня «мальчишкой с грязной попкой» и советовал учиться... Сегодня фортуна отвернулась от него и, раскачиваясь на стуле, шеф стонал с таким жутким выражением лица, словно безумно страдал от зубной боли: «Значит, твоя фамилия Скрипбаль... Ты хороший мальчик, когда спишь зубами к стенке...» Или: «Жизнь перестала быть томной...» В ходе игры Ставинский распевал песни Розенбаума и Новикова, стонал о том, что Высоцкий умер, и советовал поскорее написать стих «Памяти Высоцкого». «Это явится твоей единственно стоящей вещью», — говорил он. Я соглашался и ходил. Он морщился и объявлял, что сдаётся, и тут же испрашивал моего согласия на новую партию. Я, разумеется, соглашался; фигуры быстро расставлялись, затем следовала серия стремительных ходов — и сдача очередной партии... Вообще, Ставинский — веселый человек. Несмотря на свои то ли 23, то ли 24 года, довольно-таки знающий. Как он заявил мне, он знает не меньше любого профессора — и на этом не остановится. Я пожелал ему успехов во всем, — и на чем мы и расстались. Он оделся и двинул домой. Я — сюда, в столовку, заперся в ней, и давай писать. Вот это. Писал, отгоняя мух. Нынче мухи чрезвычайно кусачи, не дают покоя, хоть беги...

Утром Ставинский, поздоровавшись, заявил, что у него сегодня «дурное расположение духа», и тут же, не отходя от кассы, приказал мне подмести и вымыть (чтоб блестел как у кота яйца!) коридор. Сказал: «С развода вернусь — проверю». Я заглянул в палату. Бalandин в постели. Спит, подонок. Толкаю. «Выдь, — говорю, — Витя кличет...» А Вите: «Я — в ноль-ноль», — и исчез. Погулял, походил, подышал свежим воздухом. Поговорил с Надиром-кочегаром о жизни, убедился, что небо —

голубое, трава — зеленая, и — обратно. Прихожу, Баландин домывает полы. Метра полтора осталось, не больше. Отлично. Запираюсь в столовой, извлекаю из тумбочки лимонад, пирожки и конфеты. Съедаю. Сажусь за письмо. Рву. Принимаюсь за стихи. Строчки получаются нелепые, скучные, ерунда, одним словом. Иду в палату — спать. Только закрыл глаза, трясет за локоть Витя.

— Иди. Ставинский зовет.

Кряхтя, встаю. Иду. Ставинский сидит за шахматной доской.

— Проиграть хотите? — спрашиваю и хожу. — Е2-Е4.

В итоге, восемь партий выиграл я, одну — он.

— Не в форме я что-то, — бурчит, — лучше почитаю о молекулах...

Я рад. Голова трещит. Спать хочется. Проспал до двух. Недурно. А там, глядишь, Витя тащит обед. Победил — запираюсь в палате давить на массу. До пяти. Просто безобразие, говорю себе, так бессовестно расходовать драгоценное время!.. Однако, я доволен, ночью можно будет писать безбоязненно...

...Помню, прошлой ночью вышел на веранду — и обалдел. Вот это ночь!.. Звезды — на фиолетовом небе, воздух пропитан хвоей, парной; летучие мыши пищат... Словом, повернулся — и давай сочинять. Кое-что получилось более менее. Озаглавил: «Пьяная ночь». Когда я прочел его утром вслух, все сказали «здорово! Ты, оказывается, умеешь красиво писать!..» Говорю: «Я и не скрывал, что я — шланг». И предложил еще что-нибудь почитать... Читаю, воздев руку и присев на краешек стола. И тут открывается дверь и входит командир батальона подполковник Попов собственной персоной. С ним — замполит части майор Каратавов и незнакомый майор с медицинскими эмблемами. Сзади — Ставинский, на цыпочках. Помню, я так и застыл; Витя, Баландин и Алексеев повскакали с коек с пергаментными лицами, словно узрели перед собой пришельцев. Попов и говорит: «Вот — стул. Разве на столе удобнее сидеть, а, товарищ Скрипаль?» «Да», — говорю и, опомнившись, соскакиваю на пол. А Каратавов, маленький, крысообразный, углядел-таки, что я небрит, и эдак ехидно осведомляется: «Что, совсем опустились в своей санчасти?» «Экономлю», — говорю. Он не понял. «Лезвия, — поясняю, —

экономлю». Ну, он зубами пощелкал, головой повертел — не придерешься. Чистота. Порядок.

Ушли. Витя, как должностное лицо, с ними. Потом рассказывал: «Как ни лазил Поп, слова не сказал. Только к мусорному ящику пристал. Чего, говорит, бардак разводите. Объясняю. Так, мол, и так. Урна... Ушел».

Тут я и подумал — хорошо, в столовую не заглянул, там у меня кальки на столе лежали, тушь, папка с цветной бумагой. Мог почикать...

Тяжелый человек Попов. Маленький, деловой, как пройдет своей характерной вкрадчивой походочкой по части, обязательно обнаружит «бардак». «Ликвидируйте», — говорит. И все.

Ставинский однажды пожаловался Вите: «Стою на разводе. Поп и говорит, Ставинский, ко мне! Я сделал вид, что не слышу. Он опять: Ставинский, ко мне! Что делать?.. Пошел... Но ведь я не говорю ему — Попов!»

У меня есть свойство — стоит только пожелать, как люди, живущие рядом, сами приходят ко мне с наболевшим, излагают всю свою жизнь, повествуют о неудачах и трагедиях, просят совета...

Помню, еще зимой, когда пришлось провалиться две недели со стрептодермией, на соседнюю койку положили «духа». Армянина... Весьма и весьма незаурядная личность. С высшим образованием. Умница. Казалось бы, чего ему желать. Однако, как выяснилось, бедняге не хватало очень и очень многого. Как же это обнаружилось?..

Началось все с бессонницы. Погулял, подышал свежим воздухом, вернулся в палату, лег, поворочался, поумаскивался — сон не идет. И тут-то гляжу, в темноте — огонек. Оказалось, армянин дымит. Подсел к нему. Заговорили о том, о сем, о звездах, о черных дырах. О пришельцах... Вижу — заинтересовался. Ну, говорю себе, этот парень — мой! И — пошло-поехало! — наплел ему о Сухуми, о горах, о несчастных случаях с девушками; он внимательно слушает, видно, человек любит лирику, его это трогает. В следующую же паузу его прорвало. То, что он рассказал о себе — не новость. Однако, как-то до сих пор ни разу не приходилось сталкиваться с «законом джунглей» в нашей, казалось бы, благовоспитанной и благоустроенной жизни; история одинокого студента, учившегося на ветеринара, порядком поразила меня, и я решил, я поклялся не повторять этой истории в будущем,

дал себе слово не ходить дорогой уже свершенных ошибок. Исповедь армянина явилась для меня жуткой полосой препятствий, пройденной за счет страшных усилий и напряжения воли. Я помню, он говорил о своей нищете и роскоши других, о том, как это сложно — любить девушку, которая не видит тебя, бедно одетого, и смотрит лишь на сынков богатых родителей, владеющих «волгами» и «кучей денег». Он искал смысл жизни, он думал, решал проблему богатства, но оно смеялось над ним; мацони, огромные банки мацони смеялись над ним, потому что помимо этих банок в его холодильнике больше ничего не было. Он искал подходящую работу, чтобы иметь деньги, чтобы хорошо одеваться и, если находил, то оставался голодным: вещи поглощали все. Тогда он, подобно д'Артаньяну и его друзьям, посещал приятелей, дальних родственников и, если приглашали, садился за стол... Он говорил, что очень хотел бы жить честно, не воровать, но убедился, что иначе ему никогда не удастся иметь много денег, и девушки никогда не будут его любить, потому что он бедно одет и у него нет машины... Я видел, говорил несчастный, у богатых бездельников столько денег, сколько ни разу не держал в руках. И эти деньги назывались «карманными»!..

И я его тогда спросил: «Вернешься — будешь воровать?»

И он сказал: «Буду...»

Расскажу немного о нашем доблестном командире взвода. Вова Полозов ухитрился получить старлея (и это при всей своей тупости!) — и задрал нос. Тузует. Ходит расслабленно, словно имеет могучее телосложение, хотя сам — тощ, невысок, с торчащим жалким хохолком на макушке, как у цыпленка, — и это нелепо. Как было указано выше, носил вполне заслуженную, так сказать, отработанную честным трудом кличку Уж. При разговоре Вова прищепetyвает, и это прищепetyвание стало его бичом. Отсюда и передразнивание за спиной, и кличка, и все остальное... Когда Вовчик принимается читать лекцию, меня (да и не только меня) корчит от смеха. Разве я виноват, что он так потешно складывает губы, так забавно размахивает руками?! Право, в этом я виновен меньше всего. Борясь с желанием нарисовать своего командира в параксизме его гнева, я говорю: «Так точно!» — говорю: «Есть!» — и, как писал Василий Федоров — «и этого уже довольно». Шипение смолкает. Слыш-

ны нормальные человеческие интонации. Прямо-таки, кажется, чудо свершилось на глазах. Заверяю Ужа в своей всенепременной преданности ему лично и интересам взвода, доверительно сообщаю, что «больше не буду», и он говорит — «посмотрим» — делает ручкой, и мы расстаемся друзьями...

Дима, замкомвзвода, отводит меня в сторону и тихо советует поменьше спорить. Ты, говорит, языком никого ни в чем не убедишь, помолчи, для своего же блага помолчи... Я соглашаюсь, заверяю его, что отныне мой язык на амбарном замке, а ключ покамест не куплен в магазине... Он ворчит — и уходит...

... Сегодняшний вечер — без эксцессов. Мирно поужинали, помянули добрым словом павшую в битве с котом ласточку — и разошлись. Витька и Алексеев наострились на фильм. Я — сюда, к тетрадке. Пока пишется, говорю, надо писать. Кажись, получается...

... Тут же вспоминается веселый случай, когда нам с Олежкой Частухиным командир части поручил яму выкопать. А я как раз давеча побывал на том месте и вдоволь насмотрелся, как здоровенные «партизаны», прохлаждавшиеся за пьянку на «губе», вкалывали над этой ямой полдня. То, что осталось закончить, на первый взгляд — всего ничего. Но именно остатки и возмутили и меня, и Олежку. И вот, после развода, вооруженные лопатами, прибываем к яме. Затем уютно устраиваемся на травке под молодой березкой и закругляемся. Пробудившись, убеждаемся, что пора на обед. Лопаты на плечо — и в роту. Вечером — сцена. Подшиваюсь. Откуда ни возьмись, появляется Уж. Шипит: «Товариш-ш Шкрипаль, вам какую задачу поштавил командир чашти?»

— Яму, — говорю невинно, — вырыть...

— Ну и как, — осведомляется, — вырыли?

Честно смотрю ему в глаза и скромно говорю: «Да так, немного, пожалуй, осталось...»

Он взрывается: «По-моему, до такой наглости может только товариш Шкрипаль додуматься! Командир чашти! Командир чашти штавит ему задачу, а он, извините за выражение, командира чашти через одно место бросает — и на пару с товарищем Чаштухиным шпит где-то там... Проклятье!»

— Виноват, — говорю, — исправлюсь.

— Вам, — орет, — шрок до подъема. Утром доклады-
ваете, што яма вырыта. Все!

— Хоть шейшаш?

— Хоть шейшаш!

... Это было незадолго до ужина. Отыскиваю Олега в курилке. Так и так, говорю, пошли копать, мол, делать нечего, надо... «А ужин?» — спрашивает. Пошли, говорю, в чайную. Айда!..

Поели плотно. С аппетитом. На яму?! На яму...

Пришли, выровняли дно, создали видимость, что здесь шла продолжительная и упорная работа, кинули лопат двадцать, не больше, повернулись — и в роту. Спать. Уже сквозь сон слышали, как рота строилась на вечернюю поверку и, как, читая список, Дима сказал дежурному по части, что мы — роем яму...

Наутро Уж подзывает к себе.

— Ну, как дела, товарищ Шкрипаль? — в голосе ехидство, помешанное на подленьком торжестве.

— О' кей, — говорю, — вырыли.. — И делаю заспанную мину.

От радости Уж даже перестал шепелявить:

— Вот видите, товарищ Шкрипаль, неужели же нельзя было справиться с порученным сразу, без понуканий, еще вчера?! Признайтесь!.. (Пауза). Долго хоть работали?..

— До трех, — вздыхаю.

— Вот! — он торжествует. — Это еще раз демонстрирует, насколько выгоднее быть дисциплинированным воином, нежели разгильдяем и бездельником. Раньше я вас считал более исполнительным и шобренным. Товарищ Чаштухин — тут все понятно. Дуб-дерево, разгильдяй из разгильдяев! А вы!? Поэт, редактор, английский учите... Подумайте, тов. Скрипаль, крепко подумайте; вам необходимо ишправиться в лучшую сторону. Даете шлово?

— Даю, — говорю мужественно, — Вшенепременно...

— Хорошо, идите, — и с видом чрезвычайно занятого человека склоняется над какой-то тетрадкой...

Каким-то непонятным образом прознали, что я рисую. И — началось!.. Одному нарисуй то, другому — это, здесь — покрасочнее, здесь — витиеватее. Особенно выматывали кальки. Во-первых, они требовали секретности, потому что офицеры их конфисковывали, во-вторых, раскрашивание калек — занятие нудное, в-третьих, каж-

дый давал по двадцать штук зараз, и это злило, работать приходилось подолгу. А потом Уж, як Саваоф, вылепил из вашего покорного слуги редактора «Боевого листка». Помню, еще в учебке сей чертов листок не раз выводил меня из равновесия, не раз приходилось получать из-за него, треклятого, по шее; и тут — нате! Редактор!.. Возмутился: «Не умею — и все тут!» Сказали: «Научим. Не хочешь? Заставим». И, действительно заставили. Шарамок вызывает в канцелярию и вопрошает:

— Что, товарищ Скрипаль, не хотите быть редактором, да? А чего вы хотите, черт бы вас побрал? Спать на посту, да?! Шкодить можете, значит, а общественных нагрузок и работ чураетесь, да? Да!?

Это его «да» звучало все грознее и грознее, словно пистолетные выстрелы в упор, они точно поражали цель. Меня. И я сдался.

— Отныне, — торжественно произнес Уж, — ты — редактор «Боевого листка», и несешь за выпуск его полную ответственность. Вам ясно, товарищ Скрипаль?

Так я стал редактором.

Далее — меня прибрал к рукам Петр Петрович Торбенко, шар из шаров, рисующий диаграммы и плакаты, постоянно обитающий в ленкомнате, вознамерившийся сделать из моей скромной особы своего преемника. Петр Петрович увольнялся осенью и, как старший по призыву, считал, что имеет полное право поучать.

— Ты, — вещал он, — еще дурак, хоть и поэт. Учись, пока не поздно, писать пером. Пригодится.

Я соглашался. Однако — когда учиться-то?.. Ночью, отвечал Петро. Ну уж нет, отвечал я, ночью люди спят; и я тоже спать хочу...

Поэтому-то, не успел я как следует попасть сюда, в Витино ведомство, а Петро уже тут как тут. Принес тушь, перья, бумагу. Учись — не хочу.

— Вот, — говорит, — кончится бумага, скажи, еще принесу. Учись писать... Кстати, как там батька Осип?

... Дело в том, что незадолго до болезни я начал писать ироническую поэму — «Сказание о батьке Осипе». За главного героя сошел некий дедушка. Его все так и звали — Осип. Был он худ и высок, веснушчат, с вечной сигаретой в зубах. У данного товарища обнаружились незаурядные комические черты, что и натолкнуло меня на мысль о создании поэмы. Часть ее — т. е., все, что я успел до сих пор сочинить, понравилось всем, даже са-

мому батшке Осипу. И я пообещал в следующий же караул дописать сие гениальное творение. Однако, планам не суждено было сбыться. Ночью, после первой же смены, я почувствовал себя плохо, поднялась температура, заломило левую ногу; а наутро Данилов определил диагноз — «флегма» и написал в «Книге Больных» коротко и ясно — «лазарет»... Позже, когда температура упала, стало как-то не до «батшки Осипа», стихи получались серьезные, хотелось больше размышлять и предаваться меланхолии...

... Даже сейчас, глядя в окно, убеждаюсь, что не зря писал о неподвижности природы, о зачарованных деревьях и кустарниках; в этом что-то есть — в тихом, невесомом вечере, в слабо пищащих стрижах, в контрастно-черной колючей проволоке на фоне светлого песка...

Хочется лирики; пейзаж будто бы способен помочь, но... но! — и в березах, и в песке — кроется жестокость, постоянное напоминание мсего местонахождения. Это — деревья Флорищ, это — песок Флорищ; чурайся их!..

Будь война, типун мне на язык, — я защищал бы Флорищи всем сердцем, зная, что кто-то в это же время обороняет мой дом, мой город, и, кто знает, вдруг парень, заслоняющий их своей грудью, родом отсюда, из Флорищ?..

События и время меняют обстоятельства. Ненавистное в любой момент приобретает форму дорогого, самого что ни на есть ценного, прикипающего к сердцу... Ты ненавидишь Флорищи как место, где ты испытал унижение, несправедливость, лишения, и ты — любишь Флорищи, они близки тебе всем тем, что они дали тебе; не будь их, не будь ежовых рукавиц армейского порядка, сомневаюсь, что ты стал бы мужчиной, или — человеком, умеющим преодолевать... Да, ты рад вырваться отсюда, как мальчишка, стремящийся покинуть родной дом в поисках Северного полюса; он еще не знает, к чему это приведет. Большой Мир кипит, полный таинственной жизни и забот, в его среде каждый ждет удачи, и мальчишка тоже хочет удачи, он не знает вкуса счастья, вкуса везения, но он чувствует, что это — великолепно, он — стремится.

Казалось бы, ты начал служить еще вчера; помнишь, как ты садился на поезд, как прапорщик, которому ты надоед, и который наконец-то отправил тебя служить, пожал тебе же руку?.. Тебе одному, одному из всей

толпы призывников! Он верил в тебя. Он был умный, прапорщик. Когда я ему обрушил, что говорится, на лысину, заявление, что хочу служить, ибо осточертели до смерти отсрочки, комиссии, медосмотры, опротивело попусту терять время, — когда я ему это сказал, он, ни слова не говоря, выписал повестку на первую же партию. На 22 апреля. Он был умный, прапорщик; он понял меня; ему спасибо за то, что он — умный. Когда встречаю умных людей, я всегда мысленно кланяюсь Природе, благодаря ее, родимую, благодаря самих людей за то, что они — умные.

Однажды я так прямо и заявил прохожему: «Спасибо тебе за то, что ты — умный». — Он посмотрел на меня как-то странно, но промолчал. Я бы сказал, что у этого незнакомца — громадное чувство такта. Такому — трудно. Одна девушка на сей счет высказалась: «Такт — это граница, за которой лежит свалка из аккуратно сложенных запчастей души». Не знаю. Может, она и права. Я лично всегда считал проще. Такт — это воспитание, элементарное умение вести себя. Здесь, в части, слово «такт» давно потеряло всякую материальную ценность. Я научился любить быть нетактичным, научился материться, — иначе тебя сочтут сумасшедшим. Дима сказал: «Ты какой-то интеллигентный; в армии надо быть, как все». Отсюда вывод: даже самые культурные люди, сообразив что к чему, набрасывают на себя маску «как все» — и их не распознать. Замыкаются, черти... С увольнением скорлупа сбрасывается, и домой едет вполне воспитанный, приятный молодой человек, спешно отвыкающий от вредных привычек...

Ерунда, скажете? Хорошо, тогда выдвигайте встречную гипотезу; подискутируем...

Бедняга Ставинский голодает. Приходится подкармливать. Жена в командировке, он ей отдал всю получку, беспечно бросив — «перебыюсь!» — и теперь ходит, как заморыш. Жалко. Витя вертится, как белка в колесе, все пытается что-то сделать, хоть в чем-то благоустроить шефа, угодить... А шеф? А шеф, пока жена далеко, каждый вечер принимает гостей, то бишь гостью... А потом, за утренним чаем, повествует нам, что он с ней за ночь сотворил... Н-да...

Говорят, женщина всегда права. Начинаю сомневаться в общественной истине. Накануне подхожу к Ка-

теньке Кудряшовой, аптекарше, и нижайше прошу одолжить на полчаса пишущую машинку. Мол, так и так, крайне необходимо перепечатать стихи... Короче, дело жизни и смерти, говорю. А она шуток не понимает. Нст, говорит, не дам, сломаешь... Хм... Я, говорю, имею стаж печатания два года, а ты, мол, только начинающая... Все равно, упорствует она, не могу. Подходили, говорит, уже такие, печатали. Неделю после них приходилось ремонтировать. Если, говорит, Ставинский возьмет на себя ответственность — тогда пожалуйста! — машинка чужая, отвечать не хочу. И все. И ушла куда-то. Я — к Ставинскому. А он — о! сам явился! садись, сыграем партейку!.. Пришлось сесть. Тут дверь открывается, Катин нос просовывается в образовавшуюся щель и вещает — дескать, Сашенька, дорогой, никому-никому машинки не давай, кто бы ни попросил, и — порх! — улепетнула. Такое зло взяло! Ну, думаю, нет, все же французы идиоты, коли утверждают, что женщина всегда права!

Когда-то я заметил Петру, что поведение его подразделяется на три формы бытия: на отличное настроение, на «немецкий танк», и на сюсюканье с бабами. Наверное, даже не наверное, а точно — Витя нарвался на второе. Заглянул он, как обычно, в нашу роту поиграть в теннис, и, завидя Петра, мимоходом спрашивает: «Ну, как делишки, Петр Петрович?» Сказал — и отпрянул, потому что Петр аж позеленел, подскочил и, размахивая кулаками, крикнул Вите в лицо: «Ты по-нормальному можешь говорить, придурок?!» Витя обиделся и ушел. Потом все спрашивал у меня, верно ли поступил.

— Правильно, — говорю, — когда Петро не в духе — лучше вообще к нему не подходить...

Постояли, пообсуждали, какой все-таки странный человек наш Петя, к единому мнению не пришли: Витя — двинул на речку, купаться, я — жарить шашлык, с которым возился с самого завтрака. Вот, думаю, окончу — и пойду перепечатывать стихи, зря, что ли, договаривался...

А стихи я печатал у Маслова, недавно устроившегося в техотдел секретарем. Обычно, пока Маслов занимался своими делами, я тарахтел на машинке и пел. И мысленно награждал толстую веселую Катюку последними словами...

Сегодня понедельник. Говорят — день тяжелый, но

на душе легко и хорошо. Витя по секрету передал, что Ставинский решил оставить меня до среды. Что ж, неплохо, отдохнем еще три дня, а там — опять будни... Положили Гулахмадова, маленького вредного таджика с пустыми глазами — фасолинами. Наша компания распадается. Баландин опять превращается в ярко выраженного «духа», Витя — в строгого фельдшера.

Общество Гулахмадова неприятно. Есть вполне обоснованные сведения, что это именно он в недавнем прошлом воровал деньги в роте, причем, кражи происходили массово и по-крупному. Рубли пропадали по-простому, улетучивались ночью из наших карманов и из документов, как гений, загнанный в дырявую оболочку. О кражах прознали даже там, «наверху». Произошел небольшой бум. Шарамок долго метался по роте, бушевал, угрожал, предупреждал, сверкал глазами и — нате! — на следующее утро обнаружилась пропажа очередного червонца...

Итак, я догадывался, что Гулахмадов приложил ко всем этим событиям руку, и ощущал острую неприязнь, усиливавшуюся еще и вследствие природной антипатии к данному товарищу...

Завтра выписывают, флегма перестала быть флегмой, высохла, съежилась. Ставинский утром спросил: «В роту пойдешь? Шарамок звонил, на тумбочке некому стоять. «Может завтра, а?» Он пожал плечами — завтра так завтра... Вот я сижу и жду, когда наступит это завтра. На душе — муторно. Тем паче, напротив парадного входа чудовищных размеров яму вырыли, закапывать надо. Непременно меня пошлют...

Очевидно, пора закругляться. Все, что возможно было настрочить на скорую руку — настрочено... Еще вспоминается, как Витя орал, узнав, что это я целыми днями пишу; кричал, махал руками — да ты! да с тобой опасно говорить, все записываешь! агент ЦРУ!.. Ничего, говорю, ты не понимаешь, сынок; или боишься правды, потому что совесть нечиста, э?..»

Флорищи, 1986 г.



Владимир ГАБЛАЯ

Недавно достал на книжном рынке литературный гороскоп и вычислил свое будущее, с тех пор загадочен и неотразим, как надпись на древнем языке.

Я СМОТРЮ В ОКНО

Смотрю в окно —
Какая редкость...
Наблюдаю за миром через стекло.
И микроскоп-то исправен,
Да вот нелепость:
Все в масштабе «один к одному» —
Смотрю-то в окно.
Смотрю в окно
И вижу вечер —
Синий,

Как миллиарды других вечеров,
Банальный, как сюрреализм,
Быстротечный, как «целая вечность»
Для нежных влюбленных и розовых снов.
Смотрю в окно,
Где в луже фонарного света
Между машинами псина бежит...
Что ж, если ее не раздавят,
То это
И будет «та самая штука» Жизнь?

* * *

Без товарного настроения
На прилавке лежали фрукты:
Лимон кисло морщился,
Груша — того же мнения,
И только яблоко смеялось как будто...
Так пролежали, без слова, без шутки,
Все шло, казалось, как раньше,
Но
Только яблоко смеялось
В желудке —
Ему было по-прежнему очень смешно.

ЗЕРКАЛО ВЕЧНОСТИ

С той стороны зеркал,
С той, что нельзя рассмотреть,
Так, чтоб никто не слышал,
Бродит холодная смерть.

Смотримся в это стекло —
Нам все грустней с каждым днем...
Снимки того, что ушло,
Смерть проявляет на нем.

Пристально глянув на нас
Через кристалл годовщин,
Смерть по ночам вокруг глаз
Чертит узоры морщин.

С вечных зеркал столько лиц
Ей доведется стереть...
Средь деревень и столиц
Бродит холодная смерть.

ПРЕДЧУВСТВИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

С. Дали

Мне, наверно, отрубят голову,
Она будет валяться в пыли...
Капель крови густое олово
Отольется на лик земли.

Но сначала на шумной улице
Кто-то в красном без лишних фраз
Подойдет и, не долго мучаясь,
Поцелует меня предаст.

Он из тех, кто бежит с опаской
Вдоль юродивых и глупцов,
Натянув, как перчатку, маску
На бесформенное лицо.

И припомню без сожаления,
Как недавно в ладони рук
Предрекающим все знаменiem
Опускался большой паук.

В паутине полночных сговоров,
В упоеньи взаимных бойнь
Мне, конечно, отрубят голову...
Я и тем и другим — чужой.

* * *

Дорогой маме, поклоннице
музы Н. А. Некрасова

Если немного задуматься, то:
Каждый «имеющийся еще» хулиган,
Отдельный портной,
Укрававший штаны,

Пять раз герой,
Тысячу раз хам —
Гражданин отдельно взятой страны.
В которой отдельно:
«Отцы» от «детей»,
«Наука» от «жизни»,
«Товар» от «цены»,
Труд от зарплаты,
Умы от идей,
И только чему-то вместе верны
Граждане взятой отдельно страны,
Бранящей лишь мертвых вождей.

Мы, граждане взятой отдельно страны,
Отдельно от всех,
На отдельной заре,
Для взятых отдельно немногих лиц
Построили изолированный социализм
С удобствами...
Во дворе.

* * *

Мой маленький город
Держу на раскрытых ладонях,
Он стар. Я пока еще молод,
Но вечность в душе моей стонет.

Столетия тикают галькой у всех под ногами,
И время волной набегаёт на камень,
Рассыпаны домики в бухте резным рафинадом,
А желтая пыль застывает над пальмовым садом.
Усталое солнце молчит и развалины греет,
И вновь мимо берега «Арго» проносит Медею...



Игорь ХВАРЦКИЯ

Книгой «Белый ястреб» ворвался в абхазскую литературу.

ДЕНЬ ВОЛЧЬЕГО КУПАНИЯ

Рассказ

— За рекой Цикуара в лесу, он, оказывается, влезал на дерево и выл, как волк... — Кан с удивлением прислушивался к голосу Катуши, мурашки забегали по его коже. — И звери, чтоб их род сгинул, мигом находили это место, думая, что волк воет, не подозревая, конечно, что Дахаир дожидается их. Когда волчья стая приходила туда, он сверху пристально начинал смотреть на самого сильного из них. Так вот, этот волк не выдерживал взгляда Дахаира и терял сознание. А те, остальные, учуяв человека, вмиг убегали. Дахаир спускался и цепью приковывал волка к дереву, чтобы он не сбежал,

когда придет в себя. Потом он за неделю укрощал его и ездил на нем верхом.

— И для чего, ему, взрослому человеку, в возрасте, этим заниматься? — вставила Хушназ.

— А кто же знает, для чего? Кто знает, какие мысли роятся у него в голове, что таится в его темной душе? — уставилась Катуша на нее, не мигая своими прозрачными глазами. — Хотя, почему не сказать? Конечно, то, что я расскажу тебе, умрет между нами! На своем волке, неожиданно, словно из-под земли появлялся он в поле, где стадо пасется. Поймав козу или там бычка, он закалывал его кинжалом, вонзал свою алабашу в землю, зацеплял за нее скотину и так быстро сдирал с нее шкуру, что не успеешь оглянуться! Выбрасывал желудок, разрезал мясо на части, складывал в шкуру и, вскочив на волка, пускался в лес, оттуда — домой. Добычу делил с волком. Соседи, не знавшие о его темной силе, удивлялись, что в его апацхе никогда не переводилось вяленое мясо, а знавшие помалкивали. Но сейчас он одряхлел, поэтому ездит на волке для забавы.

Кан представил себе, как хорошо знакомый ему старик с сумрачным лицом в темной шелковой рубахе едет верхом на здоровущем волке. Одной рукой держится за его шею, в другой руке — посох-алабаша, с которым он никогда не расстается.

— Мой старик за год до смерти вот что рассказывал мне, — после короткой паузы опять начала говорить Катуша, захлебываясь. — Однажды ночью он возвращался домой с поминок у Лашпсардов. Перейдя Цикуару, он вышел через кукурузное поле к лесу, так ближе. И тут на тропу выскочил Дахаир верхом на волке. Мой муж, конечно, узнал Дахаира и громко поздоровался с ним: «Добрый вечер, куда путь держишь на ночь глядя?» Тот, ничего не говоря, соскочил с волка, прогнал его и говорит ему вслед: «Откуда ты взялся здесь? Ыит!* Чтоб сгинул твой род!» Волк убежал в чащу. Дахаир повернулся к моему старику и говорит вежливо: «Добро тебе... Да вот, корова моя не вернулась, ищу, проклятую...» Представляешь, совершенно спокойно говорит, будто это не он только что сидел на волке?!

Катуша пригнулась вперед и коснулась кизиловой палки, на которую опиралась бабушка. Ее сухой профиль требовал, чтобы бабушка тоже участвовала в удив-

* Ы и т — гневный возглас (абх.).

лении. И Кану хотелось, чтобы бабушка заохала и всплеснула руками. Но бабушка поправила подол темного платья и прикрикнула на курицу, которая пыталась пролезть через изгородь к кукурузе и помидорам.

И тут Кан вспомнил, как однажды вечером, когда он искал не вернувшегося домой бычка, ему встретился старик Дахаир.

— Чей ты сын? — спросил старик, воткнув в землю свой старый посох.

— Сын Ноурыза, — пробормотал Кан, чувствуя себя скованно под пристальным взглядом старика. Дахаир стоял напротив, надвинув на брови башлык.

— Нож у тебя есть? — спросил он.

— Нету, — еле слышно ответил Кан.

— Пистолет?

— Тоже нету..., — Кан понимал, что старик шутит, но сумрачное выражение лица сбивало его с толку.

— Тогда хоть палку взял бы в руки! Идешь по пустынной дороге один. Вдруг кто-нибудь выскочит оттуда, — он показал в сторону ольшаника на берегу реки, — что тогда будешь делать? — старик строго окинул взглядом нерешительную фигуру Кана.

Потом Дахаир поднял глаза к небу:

— Сегодня ночью пойдет сильный ливень.

Кан тоже посмотрел на небо, но в ясном, уже темнеющем небе ничего не увидел. Старик продолжал глядеть на небо, он даже приставил ко лбу ладонь козырьком, будто увидел нечто удивительное.

— Одна звезда сейчас появилась... Глаза так и сверкают, так и обливаются кровью... Ых, аннаассыни! — сказал он, полностью погрузившись в созерцание неба.

Когда старик ушел, Кан долго всматривался в небо, но звезды еще не появились, зато он хорошо представил себе, по словам старика, кровавую звезду и всю дорогу думал о ней.

Ночью и в самом деле пошел ливень с грозой. Утром дождевая вода тысячами ручейков бежала по земле, и Кан шел в школу, перепрыгивая через них, чтобы не замочить ботинки.

...Катуша погладила бока медного кувшина, запотевшего от колодезной воды.

— Похоже, ваш колодец тоже скоро пересохнет, — сказала она. — Уж и не знаю, куда будем ходить. В день, когда купается волк, стояла жара; у меня за 2 часа все белье высохло, значит, дождей совсем мало будет.

— Будем ходить к Коатапшскому роднику, — вздохнула бабушка, — далековато, но ничего не поделаешь.

— Вся надежда на Ацуныхва, — сказала Катуша, — вчера вечером мне позвонила Хамжоаж, к ней приехали племянницы из города, они очень расстраиваются, что женщин на Ацуныхва не допускают.

Кан посмотрел на склон соседнего холма, видневшегося за рекой Цикуара. Чуть ниже усадьбы старого Батаквы раскинулись кукурузные и табачные плантации, а в центре холма, как оазис в пустыне, возвышалась грабовая роща. Именно в этой священной роще баалархвцы проводили Ацуныхву.

В прошлом году мама дала ему и брату Дауру мамалыгу и сказала: «Все идут, и вы идите, вам уже можно, не маленькие. Потребуете мяса жертвенного быка». И они пошли вдвоем, потому что отец с самого утра уже был в роще.

Кана поразило многолюдство, здесь были даже мужчины, давно переселившиеся в город, они стояли группками и тихо переговаривались, между взрослыми слонялись мальчики-подростки. На арбе стояла бочка с черным вином. Несколько мужчин принесли нарезанные у реки пахучие влажные ветви ольхи и раскладывали их длинными рядами на земле. В роще было прохладно, в глубине ее, в стороне от остальных, парни играли в карты, изредка оглядываясь на праздничную суету.

Брат потянул Кана за руку и показал на мужчин, возившихся с рыжим рослым бычком, среди них был отец. «Сейчас начнется», — шепнул брат, и Кан отвернулся. Глядя на стариков, беседовавших с этнографом Арсоу, приехавшим описать обычай вызывания дождя, Кан переждал стон бычка и возгласы, с которыми мужчины снимали молодую шкуру, разделявая тушу.

... Бригадир Аркади нес сердце, печень и челюсть бычка, насаженные на обструганную ореховую палку. Подойдя к старикам, он протянул палку Эзугу. «Уже все готово», — сказал он.

Эзуг направился к старому дуплистому дубу, все потянулись за ним. Перед дубом Эзуг откинул башлык, обнажив седую, коротко стриженную голову, и поднял палку с сердцем, печенью и челюстью бычка.

«О, Всевышний, — произнес он дребезжащим голосом, — не обдели нас светом своим. И сопутствуй нам во всех делах нашей жизни. Если ты считаешь, что нам нужно солнце, пошли нам щедрое солнце, если ты счи-

таешь, что нам нужен дождь, пошли нам обильный дождь. С твоей вершины тебе виднее. Мы, твои дети, твои внуки и правнуки, ловим свет твоих глаз и радуемся ему...»

Кан осторожно обошел окружавшую дуб толпу и остановился, чтобы видеть, что Эзуг будет делать дальше.

Старик отрезал кусочки от сердца, печени и челюсти бычка; макая их поочередно в стакан с вином, он медленно возлагал их в дупло и говорил:

— «И пятью быками не накормить могущественный род Ачба и Чачба... И годовым урожаем вина не утолить их жажду... Да передастся сила этого рода нам...»

Когда моление закончилось, все двинулись мыть руки.

Кан нашел брата в толпе, они ждали, когда взрослые закончат, и наступит их очередь вымыть руки.

— Да-а, после Джигурея Айбы, да не будет он обделен тем, что есть на том свете, если действительно там что-то есть, Эзуг непревзойденный оратор в Бзыбской Абхазии. Но сейчас кому все это нужно? — сказал бригадир Аркади.

— А помните, как Джигурей словом примирял людей. Даже находившихся в состоянии кровной мести он мог уговорить и заставить просветлеть лицом.

— А кто у нас будет жрецом, когда Эзуг не дай бог, но умрет? — спросил лесник Шардын.

— Миха, наверное, или Дахаир, старше среди нас нет никого, — ответил Аркади.

— Э-э, нет, — протянул Шардын. — Дахаир никак не подходит. — Слишком много разговоров о нем. Что касается Мехи, он еще может жениться, говорят, он ищет молодую жену. А жрец должен быть чист перед богом. Он не должен вообще думать о женщине.

Вымыв руки, Кан с братом пошли к концу длинного ряда ольховых веток, где устраивались подростки. Взрослые рассаживались по старшинству — сначала старики, напротив Эзуга и Дахаира поместился длиннорылый Миха, потом остальные. Кан заметил, что отец весело смотрит на них, и толкнул брата в бок.

Бригадир Аркади и сельский музыкант Химца обходили ряды с корзинами, перегибаясь через головы сидящих и выкладывая на ветви горячие куски вареного мяса. Запах остывшей мамалыги смешивался с влажным

запахом ольховых веток. Никто не приступал к еде, все ждали, когда Эзуг произнесет нужные слова...

— Унан! Как я задержалась, дома ждут воду, надо мамалыгу варить... — Катуща вдруг заспешила, засуетилась и подняла свой кувшин. Бабушка проводила соседку до ворот и, держась за поясницу, возвратилась на место.

Прежде Катуща часто заходила к ним, а сейчас разве что за водой. Ее разговоры с бабушкой всегда поражали Кана своей бесконечностью. Бывало, она не замечала за разговором, как темнело. «Унан, как быстро время пролетело, ну, пошла я», — говорила она, будто нечаянно задержалась. Чувствовалось, что она еще не выговорила, не облегчила душу... Но в последнее время, после того, как в селе установили телефонную связь, Катуща редко выходила из дома.

...Едва по селу пронесся слух, что уже распределяют номера и ставят телефоны, Катуща первой пошла в сельсовет, требуя телефон. Председатель заметил, что в первую очередь дают ветеранам войны...

— Мой покойный муж Алыкса — кавалер Георгиевского креста, участник первой мировой войны, всадник «Абхазской сотни» в Дикой дивизии, — говорила она, наступая на председателя, если не веришь, принесу его саблю.

— Не надо приносить, — отвечал председатель, — я тебя сто лет знаю и Алыксу хорошо помню, бери, какой хочешь номер, зачем тебе из дома в дом ходить, будешь разговаривать не сходя с места.

Впоследствии, научившись звонить, Катуща долго восторгалась и заявляла, что люди за всю свою историю ничего более ценного не изобрели, и что теперь-то человек сможет вдоволь наговориться.

«Не видать бы нам, баалархвцам телефона, как своих ушей, если бы не Нури», — говорили местные сплетницы о дяде Кана, работавшем редактором газеты в Сухуми.

Отец Кана, Ноурыз, часто рассказывал, как все это было. Лет десять тому назад, оказывается, колхоз уплатил Министерству связи большие деньги за установку телефонов. Но деньги куда-то пропали. Председателя колхоза сменили. А новый занялся корчевкой леса для дополнительных табачных плантаций. Тут уж было не до телефона... А когда сменили третьего председателя

и назначили четвертого, на общем собрании колхоза Ясон, ветеран войны и труда, вспомнил про телефон.

В течение недели выяснили, что телефонные столбы, привезенные и брошенные по обочинам дорог, растащили, но никто не знал, куда ушли деньги. Снарядили в дорогу самого Ясона. Ворвавшись в министерство, Ясон, как говорится, задал вопрос в лоб: «Где наш телефон? Десять лет назад деньги дали, и с концами, ни денег, ни телефона...».

Товарищи из министерства очень удивились и подняли бумаги. В них черным по белому выходило, что в селе телефон функционирует вот уже десять лет. Тогда Ясон предложил самый простой выход — позвонить в село и спросить, как дела. Товарищи согласились и позвонили. Спустя некоторое время до них донесся ядовитый голос дежурной по междугородке: «Вы что там, обалдели, что ли? Наша техника не позволяет связаться с селом, где нет телефонных проводов!». Тогда товарищи из Министерства не смутившись, пообещали в самом скором времени решить этот наболевший вопрос.

Но постепенно дело с телефоном стало забываться. Прошел год. Узнав об этом, Нури написал фельетон. Опубликованный в «Правде», он вызвал потрясающий переполох в Министерстве связи. За три месяца в селе установили АТС на 100 номеров с выходом через код в районный центр.

Одно время, кроме радиопередач, в трубке невозможно было ничего разобрать. «Наш телефон стал петь», — говорили в селе. Срочно послали все того же Ясона разбираться с начальником узла. Последний, узнав в чем дело, посоветовал «более по данному вопросу не беспокоить», а то жалобщикам, помимо положенной платы за телефон, придется раскошелиться еще и за радиопередачи. У начальника связи, оказывается, в райкоме сидел близкий родственник. Ходили слухи, что он продавал все, что можно было продать, начиная от телефонных проводов до телефонных номеров.

Но однажды вдруг прекратились радиопомехи в трубке, и сельчане тут же позабыли и про начальника связи, и про его темные делишки...

— Нанду*, Катуса видела, как купается волк? — осторожно спросил Кан. — Неужели волк купается в Цикуаре, как мы?

* Н а н д у — бабушка (абх.).

— Это примета такая, нан, — ласково сказала бабушка, глядя на него, — в середине марта есть день, когда купается волк. Он купается только раз в году, и если в этот день жарко — будет засуха, а если пасмурно — будет дождливый год.

Кан попытался представить, как купается волк — может быть, он просто долго плавает или, наоборот, прыгает, мутит воду вокруг себя, пугая рыб. Может быть, после зимы в нем бурлит лесная сила.

И вот на таком волке, оказывается, скачет старый Дахаир. Если спросить об этом бабушку прямо, она может заупрямиться, она никогда не поддерживает разговоры Катуши на такие темы.

— Придется ходить за водой на Коатапшский родник, — произнесла бабушка, как бы разговаривая сама с собой.

— А почему дед назвал этот родник Коатапш? — спросил Кан.

— На этой поляне раньше садились дикие красные утки, — сказала бабушка. Поэтому место издавна называлось Коатапш. А твой дед по травам, которые там росли, определил, что родник ищет выход на поверхность. Надо только помочь ему выйти, и он помог. Потом он называл этот родник своим крестником.

Кан никогда не видел красных уток, интересно было бы посмотреть на них. На большой зеленой поляне много красных уток, они отдыхают и прислушиваются, не подкрадывается ли охотник...

Отец говорил, что дед был хорошим охотником, но Кан помнит деда только ловким наездником. Перед тем, как поехать в гости, дед долго, основательно чистил коня, называя его ласковыми именами, поглаживая по гриве, седлал и привязывал к забору. Потом отправлялся бриться и умываться. Одев поверх черкески бурку, повязав голову башлыком, он выходил во двор и с достоинством шел к коню. Бабушка появлялась в дверном проеме. «Теперь целую неделю будет ездить по родственникам», — говорила она вслед стройному всаднику, делая вид, что недовольна, но Кан чувствовал по голосу, что она гордится дедом.

— Нанду, — попросил Кан, — расскажи как дед сбил с коня князя Татыркана!

Бабушка улыбнулась, а потом тихонько засмеялась:

— Я уже рассказывала тебе недавно, нан. Помнишь,

зимой шел долгий дождь, мы сидели на кухне. Зимой всегда многое вспоминается. Я тогда так разболталась...

— Ну, расскажи еще... Мне хочется послушать про деда.

— Он был крепкий мужчина, выносливый, — вздохнула бабушка. И очень вспыльчивый, вспыхивал как порох.

Тогда на поляне, у дубовой рощи, где проводили моления Лейбовцы, собиралась чуть ли не вся Бзыбская Абхазия. После того, как старый жрец Дамей закончил обряд, такой шум поднялся, пели, танцевали, подшучивали друг над другом, задирались. Но все ждали боя на конях. Князь Татыркан приехал на белом скакуне. Этот белый скакун славился на всю округу. Во время боя он вставал на дыбы и передними ногами выбивал соперника из седла. Многие пострадали из-за этого. Поэтому князь Татыркан не боялся соперников. Когда объявили о начале состязания, он первым выехал в круг. Другие всадники медлили, и он вызывающе смотрел на них. Тогда навстречу ему выехал Мардсоу. Он был из соседнего села, тоже бывалый боец. Телом он был даже крепче, чем князь Татыркан. «Вот это достойный противник», — усмехаясь, сказал громко князь Татыркан. Он был уверен в победе. Они сшиблись несколько раз, наконец белый жеребец Татыркана выбил Мардсоу из седла и заржал.

Мардсоу унесли с поляны, он был сильно помят.

— Кто еще? — крикнул князь и обвел толпу дерзким взглядом. Тут твой дед пронзительно закричал, вскочил на своего вороного и ринулся на князя. Кони сшиблись грудью, и оба всадника пошатнулись в седлах. Твой дед тоже поднял коня на дыбы. Одна нога его коня зацепила газыри на груди князя, порвала черкеску. Князь вместе с конем рухнул наземь в истоптанную копытами грязь. Все закричали. Князь вскочил, он отделался ушибами. Он был оскорблен и выхватил свой пистолет. Твой дед потянулся за своим. Но тут между ними встали старейшины и предотвратили кровопролитие...

Бабушка умолкла, но то, что она рассказала, продолжало жить перед глазами Кана.

Когда в доме бывали гости, дед часто рассказывал, как старик Дахаир предсказал смерть Большеусого*.

* Большеусый — прозвище Сталина в народе.

Это было совсем давно, они встретились в городе и проходили мимо парка, где воздвигался памятник Большеусому. Дахаир тогда кивнул в сторону памятника и мрачно сказал: «Его дело гиблое, считай, что его уже нет».

Дедушка оглянулся по сторонам и ответил: «То, что сказал сейчас, больше не говори никому. В такое время живем...».

Дахаир промолчал, а через неделю Большеусый умер. В этом месте рассказа гости всегда молча кивали головами и переглядывались. Потом кто-нибудь говорил, что незадолго до этого люди видели, как у подножия горы Мацыстоу Дахаир вошел в голубой шар, спустившийся с неба. Там ему сообщили о смерти Большеусого и о многом другом, что должно сбыться на земле.

— Нанду, скажи, этот Дахаир, что живет на Кизиловом холме, он... ездит верхом на волке? — Кан задумчиво ковырял пальцем скамейку.

— Что ты говоришь? Не дай бог, услышит кто-нибудь из его родных! Кто тебе сказал, нан? — бабушка гневно стукнула палкой по земле.

И ты слушал, кяфыр!..* Не верь, нан, этому. Мало ли о чем говорят старухи. — Ты лучше читай свою книгу. — сказала она, и, опершись на палку, встала со скамьи. Провела морщинистой рукой по его голове и пошла к дому.

Кан посмотрел ей вслед, все-таки она рассердилась, разве он виноват, что люди видели, как Дахаир скакал на волке.

Не доходя до порога, бабушка остановилась, повернулась к Кану и насмешливо сказала:

— Дахаир был непревзойденным охотником в молодости. Он мог пешком за день дойти до горы Шоудыд. Таким он был неутомимым и сильным... Вот некоторые люди и сочиняют о нем небылицы.

Пер. с абхазского Н. Венедиктовой

* К я ф ы р — восклицание, гнев (абх.).



Елена ЗАВОДСКАЯ

Прошлым летом на склоне Чумкузбы видела промелькнувшего ангела. Амритянка по призванию и ярый борец за экологию. Печаталась в альманахе «Дом под чинарами».

* * *

Генетическая информация —
Спираль
Спрессованного в блоки прошлого,
Раскручиваясь,
Наполняет сознание древними символами,
Темными, как капричосы Гойи,
Душа ищет ясности
В событиях быта,
Незамысловатых, как первые наскальные изображения.

Но независимые траектории эмоций
Рождают орнаменты,
Под которыми исчезает
Простота рисунка.

* * *

Дом.
В комнате тихо.
Вещи умеют хранить тишину,
Если не вмешиваться в их порядок.

Пришел человек.
Сказал — я есть.
Его упрямая настойчивость
Вошла ощущением
Ожидания и неприязни.

Была осень.
В горах зрели черные ягоды.
Далеко внизу,
Город плыл, качаясь

В веселящем запахе изабеллы,
Платаны осыпали хрустящую охру,
И длинная зима смывала с его лица
Все следы лета.

Небесный скарабей
Вкатил в жизнь огромный
Огненный шар
И долго резвился,
Катая его между нами.

А когда игры закончились,
Пролился поток отчуждения.
Опять стало тихо,
И я научилась думать о тебе.

* * *

Синий петух
Вскочил на крышку гроба,
Прокукарекал время
И съел пшеничное зерно.

Август, жара... Город, потный и шумный,
Тяжким плодом созревает в ладонях.
Улицы грохот подобен нежнейшему пенью
Ста труб иерихонских;
Тянутся толпы поклонников к морю,
И Время за ними крадется, как кошка,
На мягких подушечках лап.



Батал БЖАНИЯ

Физик, участвует в археологических раскопках.

СЧАСТЬЕ ОДИНОКОГО ПАРАШЮТИСТА

Рассказ

Ура! Ура! И еще раз ура! Что может быть лучше беседы о шахматах. Разговариваем, ну, если угодно, разглагольствуем о том, о чем не имеем никакого понятия (т. е. ни в зуб ногой), но ведь приятно.

По ту сторону окна распустился цветок. Какой-то выпивший старик пытался доказать себе, что он, в сущности, такой же цветок, только другого пола. Цветок покачнулся, заставив старика оголить кривой ряд зубов. Цветок улыбнулся. Старик исчез.

— Ужасно интересно, какой сегодня день?

— Пятница.

— Нет, не день недели, а вообще.

— А! Ты имеешь в виду, нет ли сегодня какого праздника?

— Мне интересно было узнать, хороший будет день или плохой, но сейчас мне это уже не интересно.

Нехорошо опаздывать. Усталость берет свое. Пришлось сесть. Нельзя просто сидеть и ничего не делать. Делать — что? Ну, скажем, думать о том, какой все-таки будет день, а сидя мне плохо думается. Я прилег.

Думать о дне мне не хотелось, и я продолжил разговаривать сам с собой. Я очень люблю разговаривать с собой, потому что это легко и в то же время сложно. Вот разговариваешь ты, и никто тебе не мешает, плевать тебе на все, но зато ты не можешь его обмануть. Нет, обмануть можно, но тогда он начинает тебе повторять твое же вранье, и так убедительно, что ты начинаешь верить, правда, никак не можешь забыть, что все это треп, да и он только вид делает, думая, что мне приятно его обманывать. Я давно понял это, но прикидываюсь — будто не понимаю, ведь ему будет неприятно, если он увидит, что я его раскусил. Так и врем друг другу, пока не надоест и мы не переключимся на другую тему.

Вот например:

— Ты знаешь, мне кажется, она к тебе равнодушна.

— Кто она?

— Марина.

Марина — брюнетка 26 лет. Чтобы лучше ее представить, достаточно войти в пустынный парк и осмотреться. Причем совершенно неважно, день ли это или ночь, зима — или лето, буря или полный штиль. Все это — она. Ну, если одним словом, — ведьма.

— У тебя что, температура?

— А что?

— Тебе показалось.

— Ну нет, не скажи. Помнишь, как она на тебя посмотрела?

— Не на меня, а на тебя.

— Какая разница: тебя, меня...

— Вот к тебе она и равнодушна.

— Ты что, съехал?

— Хорошо, хорошо, не сердись, ведь ты — это я, а я — это ты.

— Да, я — ты, ты — я, а на самом деле, настоящий ты.

— А ты уверен?

— Нет.

— Вот и я толком не знаю, кто из нас, правда, мне кажется, что оба настоящими мы быть не можем.

— Хорошо. Так ты говоришь, она равнодушна ко мне?

— Не к тебе, а ко мне.

— Ай, ну какая разница!..

— Согласен.

— А что, если взять и трахнуть ее?

— Как ты выражаешься?!

— Ладно, ладно, успокойся, а то глаза из орбит выпадут. Сам, небось, когда нажрешься, такое несешь!

— Когда?

— Перечислить?

— Не надо, верю.

— Ну так как?

— Не выйдет.

— Почему?

— Она замужем, да и что общество скажет?

— А тебе какое дело?

— Мне-то плевать, это она так подумает...

— Ну и дура.

— Кто: она?

— Нет, общество.

— А ты знаешь, я не против.

— Чего? Общества?

— Нет, ее.

— Ну так приступай.

— Нет. Я подожду.

— И до каких пор ты будешь ждать?

— До тех пор, пока она не поймет, что это просто необходимо.

Ветер сорвал штору. Стало темно. Наверное, уже поздно, но вставать не хочется. Я все равно не успею, если даже буду бежать. Но тут мимо меня, перейдя через улицу, проковылял человек. Я вскочил и побежал.

Передо мной в белом халате сидел старичок. Простой обыкновенный старик, ничем не отличающийся от миллионов других. Но что-то в нем было ненормальное, то ли горб, растущий куда-то вверх и с одной стороны, то ли низко опущенная голова, почти касающаяся рук, перебиравших на столе какие-то бумаги.

Выписывая мне справку, он все время ворчал себе

под нос. Вдруг захотелось ударить его по голове, но я подумал, что он меня не поймет.

На улице никого не было. Возле сухого дерева ко мне привязалась бродячая собака. Я попытался прогнать ее, но мне показалось, что она меня не понимает и как-то с удивлением смотрит на меня. Я внимательно осмотрелся и не найдя ничего странного, решил, что она впервые видит человека. Я побежал к магазину, чтобы купить чего-нибудь вкусненького, на собачий взгляд, но магазин был закрыт, и не зная, чем заняться до конца перерыва, я вернулся к старику.

Он по-прежнему сидел за столом, продолжая ковыряться в своих бумагах. Я тихо подкрался к столу и ударил его по голове. Старик медленно поднял голову, закинув ее чуть назад и влево, прислонил ухо к горбу и засмеялся, крутя указательным пальцем у виска. Пришлось ударить еще. Он захныкал. Я подставил свою. Я повертел пальцем у виска. Он перестал хныкать. Мы обнялись, подали друг другу руки и разошлись.

Собаки нигде не было, да и была ли она вообще. Выбрасывать колбасу было жалко. Пришлось съесть. У собаки оказался неплохой вкус.

— Как мало надо человеку для счастья!

— Мало не мало, а по голове он тебя треснул здорово.

Я опоздал, но успел, потому что электричка опоздала тоже. Вагон совершенно пуст. Она постояла несколько минут, вся пахнувшая приятным запахом краски, потом, слегка покачнувшись, медленно пошла вперед.

Равномерное постукивание колес о стыки рельс усыпляло, и я чуть было не заснул, когда она каким-то яростным движением распахнула дверь и стала спокойно осматриваться, держа открытую дверь за ручку. Спустя минуту, а может быть, и больше, часов у меня не было, да и быть не могло, а если и были, я все равно не стал бы засекаать время, она оторвала от нее руку, словно та, превратившись в улыбку, проползла по руке, оставив за собой склизкую ленту пути.

Дверь медленно захлопнулась, и, как мне показалось, слегка подтолкнула ее в зад, потому что, сделав неловкий шаг, она вновь остановилась и стала рассматривать свою ладонь. Интересно, о чем она думала? Пройдя весь вагон быстрым шагом, она уселась прямо напротив меня. Я встал и наклонил голову, приветствуя ее. Она даже не посмотрела в мою сторону, только

устроилась поудобнее, закинув ногу на ногу. Отметив, что у нее хорошие ноги, я постоял еще немного, ожидая приглашения сесть, но, так и не дождавшись, сел на свое место.

Не знаю почему, но мне показалось, что молчать как-то не очень удобно, и я уже было раскрыл рот, но вдруг почувствовал, что в горле у меня появился ком и начал расти, мешая мне дышать. В глазах стало темно и, чтобы не потерять сознание и не задохнуться, я заставил себя говорить, причем не своим голосом. Когда полегчало, понял, что несу чушь и тут же проклял себя за то, что не умер сразу. Сделав усилие, я проглотил ком и почувствовал, как заныло под кадыком. Я пару раз кашлянул, и тут она впервые подняла на меня глаза. Представляю, какая кислая физиономия была у меня при этом. Я с трудом удержался, чтобы не встать и не поприветствовать ее еще раз. Не проронив ни слова, она вновь уставилась в окно. Неужели вся ересь, которую я нес, так и не вырвалась из моей глотки, упираясь в ком? Я поблагодарил ком, но не пожелал, чтобы он появлялся всякий раз, как только в мою голову взбредет новая чушь. Электричку слегка тряхнуло, и как будто именно это заставило ее раскрыть рот.

— Только не надо говорить, что у меня красивые ноги.

— Нет, нет, ничуть!

— Что — ничуть?

— Простите, у вас действительно красивые ноги, просто я не собирался этого говорить...

— Я же просила.

— Извините.

— Пожалуйста.

— Можно я вас поцелую?

— Попробуйте.

Я поцеловал. Не понимаю, как мне удалось это сделать, не вставая со своей скамейки. Наверное, наши скамейки съехались на долю секунды и разъехались.

Тут она той же ладонью, которую совсем недавно так внимательно рассматривала, врезала мне пощечину с такой силой, что у меня вновь потемнело в глазах, и, как мне показалось, звук от этой пощечины заглушил звук колес.

Наверное, я побледнел, потому что она пересела ко мне, и уже сама поцеловала меня. Звук пощечины никак не мог выветриться из моей головы, и, чтобы изба-

виться от него, я выпрыгнул в окно. Я думал, что больно ударюсь, но прямо надо мной с хлопком раскрылся парашют, и до земли было метров триста. Я летел долго, но земля приближалась медленно. Наверное, она и должна так приближаться, ведь с парашютом я прыгал впервые. Не знаю, сколько я летел бы еще, если бы меня не потрясли за плечо. Передо мной стояла та самая девушка. Она была без парашюта, но почему-то никуда не падала, хотя до земли было еще далеко.

— Вы проспите, и вас увезут в депо.

— Куда?

— В депо.

— А, спасибо... Черт, я, кажется, все-таки уснул!

— Вам помочь?

— Зачем?

— Вы бледны, и мне кажется, что вам не совсем хорошо.

— Нет, нет, спасибо, я прекрасно себя чувствую (ой, идиот, что я несу!) Правда, у меня слегка кружится голова...

— Вот видите! Давайте, я все же помогу вам...

— Знаете, а ведь мне приснилось, что я вас поцеловал!..

— И я дала вам пощечину!

— Да... А откуда вы это знаете?

Она засмеялась, поцеловала меня и исчезла.

Я почувствовал сильный удар о землю, и меня накрыло большим белым куполом.



Вячеслав ЧИРИКБА

Страстный коллекционер полотен русского авангарда и поклонник студийного театра. Рассеян. Языковед.

* * *

Так долго я ждал тебя
что в сердце не осталось места для надежды
так долго я ждал тебя
что забыл зачем я здесь и кого я жду
Я засмотрелся на пчелу собирающую
сладкий нектар с цветка
увидел как синица кормит

крикливое потомство
как жук-скарабей важно
катит комок навоза
паук чинит паутину а муравей
сражается с мохнатой гусеницей
так тихо было
что жужжанье шмеля казалось
ревом самолета
так тихо было
что любовная песня травяной цикады
отзывалась в ушах боем тамтамов
по синему полю вверху
гурьбились лохматые бараны и еще кто-то
а ласточки прошивали небо появляясь —
из ниоткуда
и исчезая в никуда
я смотрел широко раскрытыми глазами
как не смотрел еще
никогда
голос окружающей меня природы проник
в мое сердце стал мне понятен близок
каждый атом моего тела уже не был
частью меня
а принадлежал все этой
постоянно меняющейся сцене
уши мои пронзили
копья молодых побегов трав
глаза стали двумя каплями росы
на лепестке полевого цветка
а тело проросло корнями и переплелось
с корнями луговых трав
И благодать сошла на мою душу
и весь я растворился в запахе клевера
в жужжанье пчел и стрекоте
кузнечиков
а кровь моя наполнила стройные сильные
побеги
прекрасные в своем стремлении к солнцу
И я не заметил твоего прихода и не услышал
легких твоих шагов и голоса
зовущего меня
и меня уже невозможно было увидеть
ибо я слился, растворился
в торжественном звоне природы
взор мой стал ясен чувства

еще недавно бурлившие
уподобились спокойному течению
полноводной реки
а уши прислушивались к чему-то
неуловимому потаенному
скрытому от непосвященных
природа-мать вовлекла меня
в свои объятия
наполнила тело и душу
живительным током великого обновления
и я
прозрел



Сергей САНГАЛОВ

Неуловим в общении. Член СХ СССР.

ВЗБАЛТЫВАНИЕ КОКТЕЙЛЯ

Объект — система ценностей, закрытая сама на себя.

Объект представляет собой конечную продукцию системы, где система является цепью: автор — объект — зритель, своего рода мембраной, через которую мир автора сообщается с окружающим миром, а не наоборот, как это представляется зрителю.

Есть правила для изображения или отображения, и существуют правила внутренней структуры в системе объект — автор — зритель, как например, парадоксальность окружающей многомерности вещей. Ведь объект — это вещь — функциональна она или антифункциональна. Иллюстративность обычно носит на себе отпечаток изначальной идеи, коей автор руководствуется при изготовлении объекта, независимо от того, что отображено.

Изображение не всегда отображение, ибо окончательный объект есть не зеркало, а действительность, вторая, третья или в энной степени. Скорее всего, автор предстает в виде линзы, фокусирующей все изначально в нем изложенное. Понятие зеркала и линзы применимо не только к автору, но и к произведению.

Фигуративные композиции, на которых изображение условно возможно опознать и отождествить с личным опытом, представляют собой зеркальные миры, в системе которых автор является лучом (проводником) между окружающим миром и объектом — произведением. Эта система применима только к реалистическому искусству. Зачастую такая система приводит к обману, ибо автор стремится на двухмерной плоскости добиться трехмерного пространства. Эстетические ценности постоянно меняются, но самое глубокое заблуждение в области ИЗО приводит к самому сладкому обману. Радость общения с объектом доставляется не только эмоциональным воздействием, но и возможностью узнать объекты окружения. Возникает познавательный интерес — костюм, лик, пейзаж, архитектура: интерес археолога к черепкам.

Функциональное назначение подобных объектов возрастает не как познавательный материал, но подобным обманом достигается эмоциональное воздействие, ибо зритель не в состоянии вырваться из системы общения, предложенной автором. Надо учесть, что воздействие цвета, ввод его в систему значительно увеличивает влияние на эмоциональные центры.

Способ отражения один — автор выдает в мир артефакт, будь то двухмерная плоскость с нанесенным изображением, трехмерный объект или же какое-либо другое действие. Иным становится восприятие объекта в зависимости от эпохи, в которой живет зритель.

Система «автор — потребитель» никогда не бывает стабильна.

Язык двухмерной плоскости: цвет и линия, то есть пластика. Оперируя этими понятиями, автор достигает выразительности и предлагает свой взгляд на окружающее, а в конечном итоге представляет самого себя зрителю. Последнему остается только подчиниться или отвергнуть предложенное ему для восприятия. Понятие живописи как действия при помощи красок на плоскости ушло в прошлое с появлением коллажа. Современный артефакт как конечное произведение представляет со-

бой совокупность всей субъективной реальности, будь то хеппеннинг, живописная композиция в самом традиционном понимании или концепция. Понятие ценности произведения как неизменяемого объекта сейчас очень изменилось и многими отвергается (Тенгли), ибо появились новые средства отображения, которыми оперируют художники. Все, что сделал автор, уже непререкаемо возводится в степень значимости как способ воздействия на психику. Окружающая действительность так же далека от окончательного результата, как двухмерная плоскость с изображением — от трехмерного объекта, изображенного на ней. Конфликт заключается не в том, что нет запрета на способ отображения себя (художник уже не луч, но фокусирующая линза), а в том, что зритель не всегда приемлет ту форму, которую предлагает автор. Паулю Клее принадлежит высказывание, что надо подняться от модели к матрице. И модель мира отличается от своей матрицы так же, как день от ночи. Если только создавать модель действительности, мы никогда не сможем оторваться от окружающего. Создать матрицу — значит достичь возможности отпечатывать ее в эмоциях зрителя, где последний активным участием создает свои модели окружающего мира. Замкнутость системы разрывается. Змея не кусает свой хвост, круг разомкнут, и два начала — активное и пассивное — создают крест, в центре которого автор и зритель стремятся соединиться. Но этого невозможно достичь, ибо все будет стремиться к нулю, так как зритель никогда не сможет до конца понять автора, Ахиллес никогда не догонит черепаху.

Матрица — это не штамп.

Матрица достигается только при возможности исключить из сознания окружающую действительность. При акте творения самое важное не только забыть все накопленное историей, но и собственный опыт. Отринуть все для создания самого себя, здесь ноль рождает единицу; Озирис, умирая, готовит пустоту для следующего рождения и тем самым последующую смерть; здесь процесс не подъем по лестнице, но непрерывная цепь угасания и разгорания; здесь спираль не стоит, а лежит; здесь пики и впадины сведены в точку. Уход в собственное «я» дает автору возможность не знать, чем закончится процесс творчества.

Точка не модель мира и тем более не топологическая форма, но симплекс, одновременно существующий

в двух измерениях — прошлом и будущем, ибо настоящее, в данном случае, присутствует только в виде связи духовного между этими понятиями.

Цвет как способ разговора со зрителем, или то, что мы называем колоритом, гамма определенного цветового языка, есть мертвый язык, ибо до конца его может понять только сам автор. Если подгонять цветовые пятна на плоскости под контуры (рисунок) окружающих предметов, воспринимаемых глазом — получится, в лучшем случае, очень правдоподобная репродукция окружающего мира. Задача автора — не повторять, а, пропуская через себя, найти точку отсчета, точку разрушения и рождения мира. Стремиться подчинить сознание зрителя, сфокусировать его на этой точке. Дать новое понимание красоты, но не красоты, которую зачастую требует потребитель. Там, где присутствует стремление выявить красоту, там, где мнение потребителя ставится во главу угла — выветривается аромат мира, и появляется запах гниения, там художник умирает.

Отображаемые предметы или явления не могут нести в себе какое-либо табу, ибо дозволено изображать все, но в зависимости от выбора можно судить о субъекте изображающем. Все границы устанавливает автор. Если зритель видит что-либо непонятное для себя, то это его вина, ибо ему разрешено видеть все, что угодно.

Способ наложения цвета или построения артефакта, все технические приемы, которыми оперирует автор, не должны интересовать потребителя, для него должен быть важен окончательный вариант, то, что он примет или отметит. Половинчатых вариантов здесь быть не может. Искусство не пирог, и его нельзя употреблять частями.

Прием, форма, в которую заключен артефакт, не являются главными. Включение дополнительных элементов — коллаж, объемные формы или же самостоятельная концепция — органически вытекает из сиюминутного состояния автора и не призвано удивить зрителя. Игра со зрителем ведется не на развлекательном уровне и не несет в себе следов агрессии, как это иногда представляется потребителю; ибо не понимая, не усваивая предложенного языка, последний сам становится агрессивным и переносит свое состояние на художника. Так как подобное явление существует, оно само становится элементом системы: автор — артефакт — зритель и вводится в игру. Ведь все это не что иное, как игра. В ней самое инте-

ресное то, что автор зачастую не знает окончательного результата, хотя заранее прощупывает пути к нему, и то удивление, которое он испытывает, и есть радость творчества, есть смысл игры. Ведь если нет удивления автора, то зритель и вовсе не испытывает никаких эмоций, а это ведет к пренебрежительному отношению зрителя к произведению и к полному его непониманию. В подобной ситуации, по-видимому, виноват автор.

Внутри произведения действуют собственные законы, которые присущи всем видам и формам искусства, но в каждом из видов они специфичны. Для изобразительного искусства важнейшим является закон внутреннего равновесия. Если рассматривать плоскость с нанесенным на нее изображением, то всегда можно заметить, статична композиция или находится в динамике. Статика и динамика обусловлены не только расположением пятен на формате, но и структурой самого пятна и его цвета. Внутреннее напряжение отдельного пятна всегда стремится подавить или усилить каждое рядом находящееся и любую точку на плоскости. Сильную свободу имеют точка и темная линия; светлая точка всегда слабее темной или любых сложносоставленных цветов, стремящихся к нейтральности — серых. В данном случае имеется в виду темное на светлом, и, наоборот, вся система меняет знак, если светлая точка — на темном.

Единственное, что всегда присутствует на заполненной плоскости, это тишина. Тишина — элемент статики. Статика обуславливается цветом и конфигурацией самого пятна. В любом напряжении на формате играет роль запрограммированный цвет, но не границы пятна, хотя последнее — ключ и замок к свободному движению — динамике. Следовательно, программируя границы пятна, а также цвет, сводя к минимальной разнице в тоне и цвете, возможно достичь вершин статики. Экспрессия рождает движение.

Статика — не что иное, как внутреннее невыраженное движение — покой. Покой — движение на нуле и приближение к абсолютному как концу всех начал и началу следующего движения. Покоя между статикой и динамикой нет. Есть покой статики и покой динамики, выраженный через конфигурацию пятна, линии, точки. Чем четче границы пятна, уже сама граница, чем последовательнее все ее точки приближаются к линии, то есть стремятся выстроиться друг за другом, тем безусловнее покой статики.

Вершина — покой в динамике и движение в статике на бесконечных временных участках. «Свободные» границы пятна противостоят статичности четырехугольника как формата, где периметр является границей плоскости.

Величина цветовой насыщенности пятна зависит от его площади, а пропорциональность величин площади пятна и интенсивности насыщения соразмерима с периметром формата и площадью плоскости, что неизбежно при станковой живописи, стремящейся к статике.

В противном случае, равновесие как гармония внутреннего покоя труднодостижаемо, и плоскость «вращается» вокруг оси, перпендикулярной центру тяжести чистого незаполненного формата как физической единицы. Чистая незаполненная плоскость представляет собой тот абсолют, коим является мир до сотворения или «большого взрыва». Все последующие следы на ней обретают не тот смысл, который вкладывается автором, а тот, который видится зрителю, и искажение тем сильнее, чем зритель извращеннее.

Все точки, линии или цветовые пятна на плоскости являются для автора выражением его внутреннего состояния на момент их появления на формате и никоим образом ни тогда, ни позже не характеризуют автора. Но они подготовлены всей жизнью и всем опытом его, а также влияют на все последующее.

Таким образом, конфигурация пятна или линии — зеркало сиюминутного состояния, принятие всех стихий и помещений, времени суток и времени года, космоса и земли.

Любой артефакт — это прежде всего разговор с самим собой, а потом уже со зрителем. Каждый разговор является как бы беседой — без предназначенной цели — с красками, линией, объемом и сопровождается сильнейшей концентрацией себя на процессе.

Моя рука — цвет.

Моя рука — линия.

Меня нет — я есть.

Цвет уходит за пределы цвета. Черный без окраски представляет собой все цвета; белый не обезличивание, а лишение окраски, как и черный. Выход за рамки цвета не играет роли, ибо каждое пятно говорит прежде всего за себя, а потом — за целое. Любой цвет — это прежде всего он сам, а уже потом авторское «я», которое проявляется только в сочетании этих цветовых пятен.

Любое цветовое безразличие приобретает выражение нейтральности, эмоции «до» стремятся к нулю множеством размышлений и представляют собой точку рождения все того же цвета, где цвет, как подобие имени, не имеет значения.

Писать, превращать цвет в цвет — не значит отображать что-либо, а значит быть под влиянием собственной выразительности; выворачиваясь, жертвовать собой, прежде всего, теряя собственное осознание, быть безликим; откровенность с самим собой достигает высшего предела, а никогда не прекращается разговор, в котором самое трудное — сказать действительно то, что знаешь, и не всегда обязательно до конца.

Из этого вытекает, что название произведения не обязательно отражает то, что изображено, а является ключом к теме разговора — где имя собственное объекта не всегда необходимо, так как зачастую разговор не включает ни единого слова, понятия, которые могут быть выражены доступным языком, ибо автор сам не всегда знает начало разговора и то, к чему он приведет. Имя заключено в структуре артефакта, а не в зрительном поле объекта. Имя подводит более к окружающей действительности, нежели к внутреннему пониманию значимости разговора.

Окружающие объекты — не средство к созерцанию, а, наоборот, уничтожение обусловленного визуального восприятия автора, и цвет, линия выступают как средства для выражения того, чего мы не знаем, и, что, вероятнее всего, останется недоступным. Осознавая то, что мы видим, мы узнаем окружающее пространство, вроде бы выглядящее для всех одинаково, но это подозрительно, ибо психические процессы осознания и отображения субъективны. Мир закрывается на единицу, где, кроме автора, присутствуют, по крайней мере, еще двое — воля и искушение.

Ясно, что произведение, хотя и подготовленное всем опытом автора, появляется зачастую случайно; поэтому его можно обозначить таким понятием как артефакт — случайный выброс.

Снять шляпу с искусства и уйти из-под нее как от конечного результата — начало и конец всей деятельности, ибо по прошествии времени все непривычное становится аксиомой.



Леонид СМЫР

Умер в 1979 г. Не печатался.

* * *

Высоко в воздухе
Ястреб застыл неподвижно;
От пенящегося водопада,
Что шумит у подножья
Анакопийской горы,
Ястреб не может
Оторвать восхищенного взгляда.

* * *

Птицы знают, где вьют свои гнезда —
Отсюда вид открывается чудный.

* * *

Знаю, с яблони
Упало
Спелое яблоко.
Ах, какая досада,
Что некому съесть
Это спелое яблоко!..
В том дворе, где упало
С яблони спелое яблоко,
Живет одинокий беззубый старик.

* * *

Ветер по луже
Гоняет желтые листья.
Желтые листья,
Когда я был маленьким,
Любил я пускать по луже
Бумажные кораблики.
А теперь я уже взрослый
И не могу, как ветер,
Заниматься ребячеством.

ОРАЙДА

Ехал всадник на лошади.
Ехал всадник на свадьбу.
Было всаднику весело,
И запел он «Орайда».

Эту песню камень услышал,
Что лежал посреди дороги,
Эту песню камень услышал
И тоже запел «Орайда».

Ехал всадник над речкой.
И речка запела «Орайда».
И рыбы запели «Орайда»,
Из воды свои головы высунув.

Стал эту песню петь ястреб,
Летающий по небу,
Хотя говорят, что ястреб
Петь совсем не умеет.

Ехал всадник по лесу,
Пел он громко песню «Орайда»,
И каждый кустик и каждое дерево
Ему подпевали дружно.

И зайцы, забыв о страхе,
Вдоль дороги собрались
И пели дружно «Орайда»
Вместе со всадником.

Вот выехал всадник в поле,
Где летали стрекозы и бабочки,
И, услышав песню «Орайда»,
Они тоже запели радостно.

И запел ветерок «Орайда»
И понес эту песню дальше.
И горы запели «Орайда»,
Словно хор стариков столетних.

* * *

Когда уже нас никого не будет,
Кто-то жизнь мою грешную кончит
Под колесами грузовика.
Кто-то умрет от инфаркта.
Кто-то от рака.
Кто-то от насморка.
Кто-то погибнет в кабине космического корабля.
Кто-то умрет от чрезмерной еды и куренья.
И когда уже нас никого не будет,
Скажут о нас: «Это были люди»!
А кто-то скажет:
«Это было скопище жалких рабов!»



Наталья ШУЛЬГИНА

Гостеприимна. Стиль одежды — собственный. Автор книги сказок, вышедшей на абхазском языке.

ЗАДАЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Рассказ

День подходил к концу, и, казалось, ничто в этот тихий, обычный для семьи Ивановых вечер, не должно было нарушить его мерное течение, как вдруг:

— Папа и мама, можно мне спросить...

Папа и мама с удивлением посмотрели на своего шестилетнего сына Павлушу. Засунув руки в карманы комбинезона, он стоял в проеме бесшумно разъехавшихся дверей. За его спиной, помигивая глазками индикаторов, виднелся миловидный робот-нянька Настя. Выполненная в сугубо реалистической манере. Настя вы-

полняла в доме сразу две функции — воспитывала Павлушу и служила удобной моделью для бурной фантазии мамы, известного в узких кругах модельера. Мама работала именно на этот тип женщин — стройная крепкая блондинка с роскошной шевелюрой, предпочитающая свободное время проводить за городом. В этом сезоне Насте приходилось носить перламутровые размахайки и черный ободок на волосах.

— Ребенку шести лет в такой поздний час положено находиться в постели, — нянька дергала мальчика за рубашку.

— Ладно, — отмахнулся Павлуша, — я это уже много раз слышал...

— В чем дело, малыш? — папа недовольно повел плечами. — Действительно, не пора ли тебе спать?

— Подожди, дорогой, — мама выступила в роли союзника сына. — Что случилось, маленький? — поманила она мальчика к себе. — Что ты хотел узнать? Спрашивай.

— Для чего вы меня завели? — выпалил Павлик, ободренный маминой поддержкой.

— Что за странный вопрос?.. — папа от неожиданности никак не мог сосредоточиться.

— Как тебе сказать, малыш, — мама замолчала, пытаясь подобрать подходящие слова, но, как назло, все умные мысли куда-то разбежались.

— Так положено, малыш, — наконец нашлась она. Ей сделалось как-то не по себе под взглядом пытливых глаз сына. Спотыкаясь на каждой фразе, она с трудом продолжала:

— Все взрослые, создав семью, просто обязаны завести детей, иначе наша планета уже давно бы обезлюдела...

— Да, — хмыкнул папа. — Ну и дела. Неужели вас в ЦВРД* такому учат?

— Нет, — покачал головой Павлик. — Нас там учат другому: программированию, работе с УА**, логическому мышлению и еще многому другому. Подожди ты, — отпихнул он Настю.

— Но тогда почему, малыш, ты задал такой странный вопрос, тем более, если вы это пока не проходили? — мама с папой переглянулись.

* ЦВРД — Центр Всестороннего Развития детей.

** УА — упрощенные автоматы.

— Нам дали задание на дом: рассуждая логическим путем, ответить на какой-нибудь вопрос. Вот я и занимался, но только ответа не нашел.

— Интересно... — папа с трудом сдержал улыбку. — Ну-ка, объясни нам с мамой, до чего же ты дошел, рассуждая логически?

— Я читал, что люди женятся по любви... — Размахивая руками, Павлик начал ходить по комнате. Мама и папа только успевали следить за ним глазами, поворачивая головы в такт его шагам.

... — От этой любви появляются дети. Иногда один, как я, а если очень любят — то много, как у маминой подруги Алины. Но дело совсем не в этом. Вот появились дети, и что же делают родители? Да просто отдают их в ЦВРД. К счастью, раз в неделю дети возвращаются к родителям, но что они там видят: папа занят, мама тоже — куда деваться детям? Хорошо, если их двое, а еще лучше трое — можно хоть играть друг с другом... А вот я, как быть мне? Вот я и спрашиваю вас, для чего вы меня завели, если все время заняты? Мне скучно... — он сел на пол и заревел, вытирая слезы.

Настя, подъехав, подняла мальчика и, нежно качая, что-то заурчала, затем обратилась к взрослым:

— Сильные не должны обижать слабых, и вообще — мальчику пора спать.

— Подождите, дорогая, — мама ревниво подбежала к роботу, пытаясь взять мальчика на руки, но тот лишь крепче ухватился за металлическую шею няньки и заплакал еще горше.

— Ну, хорошо, — папа тоже разволновался. — Тогда скажи нам, малыш, чего же ты хочешь? У тебя ведь все есть: и личный компьютер, столько игрушек и, кроме того, у тебя есть Настя. Разве этого мало? Как же ты можешь скучать? Ну хорошо, не плачь, если ты хочешь, мы с мамой будем по очереди гулять с тобой, хотя я думаю, Настя и сама с этим неплохо справляется...

— Ты же знаешь, дорогой, — мама раздраженно поправляла сбившиеся волосы, — у меня так много работы в последнее время. Готовится конгресс по Альфа-Центаврийской моде, мы с Алиной просто сбились с ног. Может быть, ты сам займешься сыном?.. Хотя бы первое время...

— Но, дорогая, я должен срочно закончить работу по образцам с Фобоса. Я тоже занят. Неужели ваша мода важнее сына, черт возьми!

— А твои камни?

— Не ссорьтесь, — Павлик, перестав плакать, с интересом следил за родителями.

— Я знаю, вы очень заняты, поэтому, — он хитро улыбнулся, — я придумал, как вам поступить...

Ах, какое счастье, когда у вас такой разумный сын, сам все решил. Мама ласково погладила мальчика по голове.

— ...Заведите для меня собаку, — закричал, хлопая в ладоши, Павлик.

— Кого?

— Собаку. Поехали, Настя, спать.

После поспешного бегства сына в комнате некоторое время царила гробовая тишина.

— Извини, дорогая, — закашлявшись, произнес наконец папа. — Я не расслышал, что пожелал наш сын?

— Собаку, — мама села в кресло и сосредоточено принялась рассматривать какое-то паукообразное пятно, неизвестно откуда взявшееся на потолке. — Не пора ли нам подать заявку на ремонт? Мне разонравились эти блеклые голубые полутона.

— Как хочешь, дорогая, — папа был согласен на все. — Но сейчас не это главное. Надо решить вопрос о собаке.

— Ты хозяин, — зевнула мама и, потянувшись всем телом, закончила, — тебе и решать. Время позднее...

Она поднялась и, плавно покачивая бедрами, точно первая красавица планеты Венера, двинулась к выходу.

— Я чувствую, как всегда, мне придется заняться просьбой сына, — сказал папа и включил компьютер. Он набрал на дисплее:

— Хотим собаку...

Мама решила на время задержаться. Через минуту компьютер выдал ответ:

— Данных в моей памяти нет. Сообщите дополнительные сведения. Разрешите запрос в Центр Компьютерной Памяти.

Ошарашенные родители с испугом посмотрели друг на друга.

Загорелось табло видеоканала, и на экране появилось миловидное женское лицо с экстравагантной прической под названием «Крик с планеты». На последнем Венерианском конкурсе эта модель получила приз зрительских симпатий «Ошеломляющая воображение». Это была любимейшая мамина подруга Мила-милочка, все-

знающая и всевидящая особа, по маминым словам «ходячее справочное бюро» (слова взяты из древнейшего словаря).

— Извини, милочка, я не поздно?

— Нет, нет, — мама надела на лицо любезнейшую из улыбок. — Я тебе всегда рада.

— Ах, я не уснула, если бы не показала, какое платье мне привез супруг с Созвездия Лебеда. Минуточку, — и Мила-милочка, отойдя подальше, начала демонстрировать свой новый туалет.

Мама толком так ничего и не поняла. Что-то мелькало, рябило у нее перед глазами, а что? Но, с упреком взглянув на мужа, она прошептала еле слышно:

— Вот что любящие супруги привозят женам, не то что ты — камни...

Папа лишь отмахнулся и занялся своими делами.

Еще не менее часа Мила-милочка тараторила о нарядах и косметике, доводя этим маму до белого каления.

— Это все прекрасно, дорогая, — мама сделала паузу. — Но у нас сейчас другая проблема: я хочу завести собаку, но, к сожалению, не знаю, где ее взять. Не подскажешь? — мама томно повела глазами, изображая полное огорчение.

— Ты знаешь, я где-то слышала, — Милочка небрежно поправила локон.

— Вспомню — сообщу, — экран погас.

— Вспомнишь, — передразнила мама. В этот момент загудел КЛП (компьютер личного пользования). Папа и мама одним прыжком очутились около него и, перебивая друг друга, начали читать поступившую информацию.

— Собака — семейство млекопитающих. Насчитывали свыше четырехсот пород и разновидностей различных окрасок и размеров. Ласковое, доброе существо. Находится на грани исчезновения, на Земле сохранились единичные экземпляры. Владельцы устанавливаются. Возможность приобрести животное равна 0,00001%. Сообщите желаемую окраску, породу и размер...

— Какую породу, какую окраску? — мама схватилась за голову руками, затопала ногами. — Я сойду с ума.

Не волнуйся, дорогая, — попытался утешить ее папа. — Мы закажем каталог по видеоканалу и к утру все будем знать...

Вставшего поутру Павлика встретили осунувшиеся, уставшие лица родителей, но глаза их были полны гордости и восторга.

В течение нескольких часов перед глазами мальчика демонстрировались все породы собак, какие только существовали на земле во все времена. К концу просмотра Павлик, сосредоточенно ковыряя пальцем в носу (дурная привычка, позаимствованная у далеких, слаборазвитых предков), сказал:

— Нет, ее здесь нет. Мне нужна другая.

Настя привезла родителям две мензурки с настоем валерьянки, а Павлуша усердно отколупывая мозаику с панно, продолжил свою недовершенную «работу». По словам папы, если из этого обилия красок и дикого сюжета кое-что убрать, чем Павлуша время от времени и занимался, то композиция, возможно, приобретет более понятный вид.

Наконец мама измученно спросила:

— Где ты слышал это слово?

— Там, в видеоновостях, — и Павлуша потащил родителей к экрану.

Сгорая от нетерпения, папа включил повтор вечерних видеоновостей.

Среди обилия информации и рекламы на экране вдруг появилось трехмерное изображение огромного, волосатого существа, чем-то схожего с увиденными ими животными из каталога, и ровный голос диктора произнес:

— Космопилот первого класса Петр Савушкин в скором времени должен будет покинуть Землю и отправиться в многолетний поисковый полет. Он обращается с просьбой к тем жителям Земли, у кого доброе и ласковое сердце, приютить его друга-собаку по кличке Малыш. Адрес...

— Едем, — решительно заявил папа.

— И как можно скорее, — добавила мама.

Дом космопилота Савушкина был таким необычным на фоне стоящих вокруг пластиковых коробочек, что мама тут же подумала:

— Да, теперь я, пожалуй, понимаю, почему у этого человека находится это странное существо — собака.

В тени раскидистых крон стоял маленький, точно сошедший со страниц старых книг, деревянный домик с расписными ставеньками и цветными занавесочками на

окнах. Двери бесшумно разъехались, и на пороге появился огромный пес.

Павлуша присел от неожиданности, папа и мама в испуге прижались к стене.

— Ух, ты, — простонал от удовольствия сын. — Какая лохматущая и большущая собака...

Пес, вежливо повиляв хвостом, обойдя слегка растерянных родителей, разинув пасть с огромным алым языком, двинулся к мальчику. Мама закрыла глаза от страха и начала вспоминать, что когда-то давно, люди в минуту опасности начинали просить кого-то о помощи и спасении — но кого?

— Помогите, помогите же, — простонала она наконец.

— Не бойтесь, — прозвучал рядом чей-то чужой голос. — Малыш очень добрый.

Мама открыла глаза. Перед ней стоял высокий плечистый человек, внешность которого была также приветливо старомодна, как и вид его дома. Павлик обнимал пса за шею и что-то шептал в большое черное ухо, и, как видно, это чудовище его прекрасно понимало. Оно виляло хвостом и даже... или ей это показалось, кивало головой.

Спустя некоторое время взрослые, сидя в креслах в гостиной перед камином, мерцавшим, к сожалению, ненастоящими углями, пили чай. Мама, впервые за столько лет суматошной жизни, почувствовала себя умиротворенной.

— Не так уж глупы были наши предки, — подумал папа.

Павлик с Малышом бегали среди деревьев.

— Уж очень он большой, — сказала мама. — Неужели его нельзя сделать более компактным?

— Дорогая, он же живой...

Папа долго не решался задать важный вопрос:

— Ну как, вы доверяете нам своего друга?

Смеющийся хозяин посерьезнел.

— Знаете, скажу откровенно, вы не первые, кто просит у меня Малыша, но я не соглашался. Дело в том, что он сам должен выбрать себе нового хозяина.

— Малыш, — подозвал он собаку. — Ты знаешь, я должен уехать. Ты не сможешь остаться один, тебе нужен новый друг...

Мама увидела, как погрузнели глаза у собаки, как она опустила голову и начала скулить.

— Неужели она все понимает? — спросила она Савушкина.

— Это мы сейчас проверим. Встаньте и идите домой. Если вы Малышу понравились — он сделает свой выбор. Только не оглядывайтесь и не зовите его.

Папа и мама, крепко взяв Павлика за руки, пошли прочь от дома Савушкина.

Малыш побежал было за мальчиком, потом, виновато поджав хвост, вернулся к хозяину. Савушкин погладил его по спине:

— Иди Малыш, иди. Тебе у них будет хорошо.

Пес долго и протяжно завыл.

Павлик шел, держась за папу и маму, и беззвучно плакал. Ему так хотелось обернуться и позвать собаку, но он знал — надо всегда и во всем быть честным.

— Не плачь, сынок. Ты ведь у нас мужчина, — папа ласково сжал ладошку сына. Мама молчала.

Что-то большое и лохматое толкнуло его под руку, и шершавый влажный язык лизнул соленую щеку...

— Малыш!

Поздним вечером, когда Павлик уснул прямо в кресле голубой гостиной, и мама уже дала указание Насте унести мальчика в постель, неожиданно загорелся экран видеоканала. На нем проявилось торжествующее лицо Милы-милочки.

— Ах, милочка, извини, что так поздно, не было времени тебе сообщить. Я вспомнила о собаке. Так вот...

— Уже не надо, — как можно мягче оборвала ее мама, — и подвела к экрану Малыша. Мила-милочка ойкнула от неожиданности, и экран погас.

Уже перед сном, сделав пару эскизов новой прически «А ля-Малыш», мама сказала папе:

— Техника у нас на грани фантастики. Элементарного не знает. Собак, которые еще при фараонах жили, помнит, а для обыкновенной дворняги в памяти места не хватило. Докатались...



Джемал ШОНИА

Живет в г. Гали. Автор двух поэтических сборников.

* * *

Тобаварчхили — озеро в горах,
Безупречной синевы озеро.
Издrevле чтили пастухи, как храм,
Его красоту, уходящую в воздух.

Однажды я тоже в синюю бездну
Горсть опустил — пастухи научили,
Но выпил не воду, а цвет небесный,
Такой голубой Тобаварчхили.

МЕЧТА

Хочу побывать за этой высокой горой, за этим полем...
Дальше и дальше... за взглядом и улыбкой...
За этим синим небом... И еще дальше...
Телом и мыслью...

За холодом, что приходит вслед за теплом —
За далью этого льда...
Опередить утро, наступающее вслед за ночью —
его далекий свет.

Глубина вдумчивых глаз дымится...
Дальше и дальше, чтобы увидеть в другой росе
Другие деревья и почки,
За пределом всего и всех...
Но только — в пределах души.

Душа, пространная и всеобъемлющая,
Если выйду за твой порог,
То где мне мечтать?

* * *

Забывтое слово...
Камень замшелый —
Валяется на дороге,
Когда-то мы баловали его,
А сейчас он следит за нами,
Усталыми скитальцами,
И мечтает,
Чтобы хоть один раз,
всего один раз,
мы задели его ногой...

* * *

Жизнь уходит,
Смерть приходит,
Когда же она наступит?

По сельской улочке,
По всяческому мосту,
Приоткроет калитку
И даже не извинится.

Не знаю, куда я пойду потом,
Но когда темнота надвинется,
Рядом со мной, как брат, должна стоять
Прожитая мною жизнь.

* * *

Как идет ей — ветке весны —
Покрывало цветущего персика...
Всегда тихая,
Всегда молчаливая,
В мои мечты она врывается, как ветер...

Пер. с грузинского З. Чкуасели



Юлия СОЛОВЬЕВА

Тянет интонации, как в июле. Мечтает основать женский журнал.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ АРХИТЕКТОР

Они пристрастны, как могут быть пристрастны художники. При естественном различии характеров и вкусов, они занимаются общим делом. Им приходится бороться с обстоятельствами, останавливать время и делить между собой пространство. И, наконец, все они мужчины и преданы одной женщине.

Итак, речь пойдет о любви. О той самой силе, побуждающей нас бродить в самое неожиданное время по улицам, крышам и чердакам, смотреть и видеть мир совершенным. И наслаждаться им.

Все лучшее мы видим в состоянии любви или в ожидании ее. Взрослеющими детьми с горы Чернявского мы замечаем, как красив наш город. И однажды в июле в четырнадцать лет в сутолоке троллейбуса вдруг видим — впервые — сквозь пыльное стекло — пленённый лилово-малиновой вязью бугенвиллии белый балкончик и спираль лестницы соседнего дома.

Примерно в это же время мы открываем для себя старый Сухум, хотя любовь к нему рождается гораздо раньше — в прохладе эвкалиптов набережной, куда водили нас гулять в полусознанном детстве наши бабушки. Они ходили туда на встречу со своим прошлым, а мы, утомленные игрой, зачарованно слушали неторопливый разговор. Поэтому наши воспоминания о собственном детстве тонут в воспоминаниях воспоминаний — о городе поэтов и архитекторов, щеголеватых цирюльников и французских модисток. У наших бабушек иногда сохранялись зонтики — старомодные полинялые зонтики — в тени которых много лет назад они прятали улыбку, кокетничали, целовались. Они водили нас по улицам, шаркая негнущимися ногами, и восторженно рассказывали, рассказывали, рассказывали... Они очень любили наш город, любили свою память о нем, и в нас видели последнюю возможность передать священный трепет этой любви...

— В городе, где природа рисует на розовой стенке причудливый узор, каждый, наверное, рождается художником — говорит мне молодой человек с глазами, в которых я недоверчиво читаю эту унаследованную любовь к своему городу.

Архитектором становится не каждый... Трудно им быть, в наше время особенно.

Во время раскопок в пирамидах биографии Георгия Баронина я обнаруживаю, что в Сухуми есть дома, построенные его дедом-инженером. Внук — Георгий Баронин — стал архитектором-художником.

... Знак вопроса змеится над чашкой с горячим кофе и исчезает в черных дырах нашего незнакомства... Это уже потом он скажет, что его любимый цвет черный. А пока мы пытаемся заштукатурить неловкость слова-

ми, и они, как засохший алебастр, падают с тихим хрустом.

Он вспоминает осенний дождь в Ленинграде и, презирая законы времени и пространства, мы отправляемся сквозь четыре осени назад послушать интимный разговор дождя с листьями в Летнем саду и пройдемся по священным ступеням Института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина при Академии художеств СССР. Приотворив одну из дверей, он покажет себя, склонившегося над чистым еще листом.

Он любит наблюдать со стороны, как работают его друзья, ибо нигде, считает он, так не раскрывается человек, как за работой.

— Рационализм утомляет — продолжает разговор Георгий, — гораздо естественнее какая-нибудь каверза.

Один из лучших зодчих конца прошлого — начала нынешнего века, испанец Антонио Гауди, называл своим учителем природу. Он до конца своих дней презирал прямую линию, прямой угол и плоскость, и считал, что само провидение водит рукой архитектора при создании неповторимых форм.

Георгий признается, что более всего равнодушен он к паркам, любит бродить по ним и колдовать над их переустройством. В Сухуми довольно большая территория отведена под парки, но они безлики. В одном из них он устроил бы сад камней, чайный домик в китайском стиле, прозрачные бамбуковые аллеи, зеркальные озера. В другом — с безупречностью французского стиля вычертил бы дорожки. Он мечтает о национальном парке прямо в центре города.

Наш разговор похож на игру; бродит по лабиринтам старых дворов, скользит по мокрым плитам тротуаров, растворяется в дымке над зимней «Амрой» и снова возвращается в прошлое.

На улице Пушкина у дома № 18 Георгий останавливается у груды обломков; дом с аркой, построенный в начале века — зияют дыры на теле арки — следы «цивилизации». До какой же бездуховности мы дошли, если научились причинять боль даже камням, у которых тоже есть свой срок.

В последние годы мы все-таки стали поворачиваться лицом к истории нашего города; группа архитекторов закончила проект реконструкции улицы Цулукидзе, сотрудники Абхазского госмузея начали кампанию по восстановлению и сохранению старых домов... Задумывая

проект пристройки к Абхазскому госмузею, его авторы — Нугзар Дудучава и Гия Джанашия с самого начала представляли нечто вроде храма — возвращение к старине, поклонение истории...

— Ибо нет сегодня большего идола, чем идол уважения к прошлому, — говорит Гия Джанашия, — по-хозяйски окидывая взглядом улицу — вместе с хмурым небом в лужах отражаются шпили прибрежных гостиниц. — Ты видишь, они только здесь и остались, а ведь Сухуми — город углов — задумывался так: эти шпили — в самом начале улицы — задают тон, держат целый квартал...

Гия тоже из породы «амритян», и он сам подшучивает над собой, что стал известен в Сухуми как теоретик архитектуры и победитель конкурса рисунков «Символ», проводимого «Комсомольской правдой» в преддверии московского фестиваля. Гия мечтает восстановить традиции в архитектуре, относящиеся к началу века, тогда это будет город дьявольских смешений, эклектика, разбавленная модерном, — «втиснуть» Сухуми в рамки какого-то определенного стиля невозможно, ибо все времена и народы оставили нам на память свой след. А уже наше дело все это спасти, сохранить и улучшить.

Пора подумать и о том, какой след оставим потомкам мы...

Коробки новых микрорайонов? Бросившись строить жилплощадь, мы забыли об эстетике. Гия считает, что, в первую очередь, нужно прекратить строительство девятиэтажных зданий и восстановить сетку улиц, даже в том же новом микрорайоне, традиционно, по-сухумски, акцентируя углы кварталов.

Итак, для молодых сухумских архитекторов настало время делать выбор — ожидание, равное предательству, или действие.

Ибо единственная возможность для архитектора выразить позицию — это его работа...

Начальник отдела градостроительства Госстроя Абхазии, председатель Абхазского отделения Союза архитекторов Гиви Гагуа и Нугзар Дудучава, недавно назначенный главным архитектором Сухуми — представители старшего поколения молодой плеяды сухумских архитекторов. Они мрачно шутят, что архитектор остается в современном обществе одной из самых гонимых фигур, и даже поэты обвиняют их в том, что в домах с примитивной планировкой их не посещает вдохновение:

Попробуй-ка на ватмана листе
Формат двадцать четыре
Изобразить приют светлейших муз
И заточи их в типовой квартире.

Причинами плачевного состояния архитектуры в стране вообще и в нашем городе, в частности, они назвали и упразднение Всесоюзной архитектурной академии, и отсутствие в Сухуми традиционной школы, которую мог создать, например, Цинцабадзе, и то, что простившись с «alma-mater», молодой архитектор зачастую имеет лишь диплом и полное отсутствие элементарных профессиональных навыков. Все это повлекло отток талантливой молодежи из архитектуры, а ведь это как раз та область, где количество переходит в качество, предполагается конкуренция, состязательность.

— Отсталость нашей архитектуры, — говорит Нугзар Дудучава, — особенно чувствуется на международных конкурсах, — архитекторы из-за рубежа представляют готовые постройки, а мы — проекты, и даже лучшие из них не всегда имеют перспективу перекочевать с бумаги на бренную землю.

И в то же время членом Союза архитекторов может стать лишь тот, одна из четырех обязательных работ которого находится уже в процессе застройки.

Сами архитекторы признаются, что, возможно, сегодня утрачены едва ли не потомственные качества, без которых не может обойтись настоящий зодчий — это чувство такта, умение работать в коллективе, высокий профессионализм. И эти «провалы» маскируются обычно болезненно развитым самомнением.

Вполне можно предположить, что и уродливые безликие дома — лишь печальные копии своих авторов; архитектор обезличен, его роль фактически сведена к нулю. Архитектора, как правило, «забывают» включить в комиссию по приему домов, ибо заведомо известно, что автор проекта, увидев как строится его детище, превращается в его злейшего врага. Авторский надзор искоренен, как атавизм, и что только не делают с проектами: меняют посадку зданий, планировку, часто от первоначального варианта остается только фамилия на чертежах.

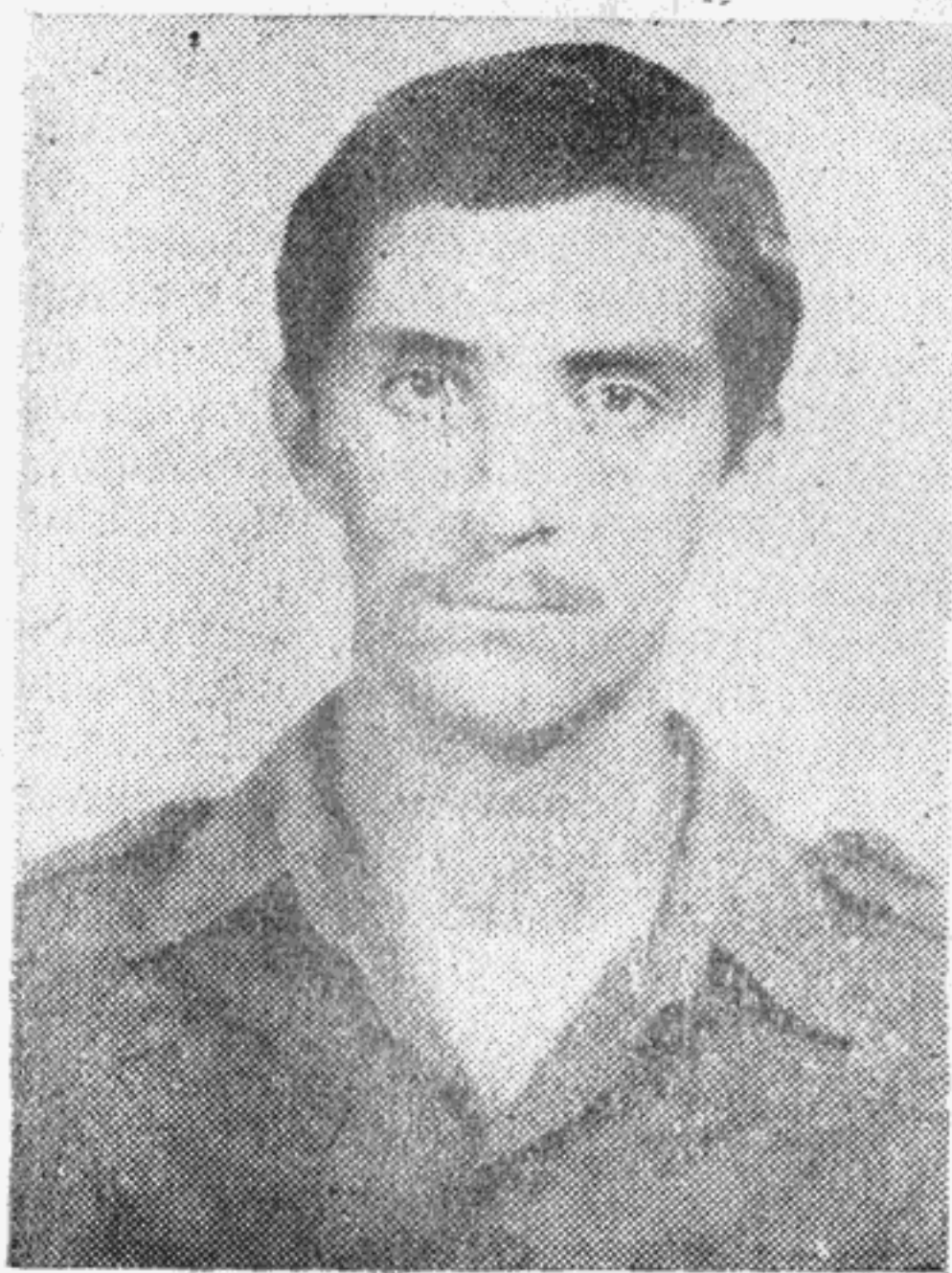
Разбуженная однажды в час сиреневого рассвета, я выйду в еще дремлющий город, подобный больному зверю...

По старой разбитой дороге, мимо керосиновой лавки, я поднимусь в гору и войду в дом, в котором никогда не бывала. И на самом верху я открою без стука старую дверь, потому что в Сухуми в старых домах нет замков, и хозяйка — такая старая, что уже не встает, старая, как дорога, дверь и комната, — удивленно посмотрит и назовет мое имя...

А я распахну еще одну дверь и ступлю на балкон, летящий в море, и, ощутив свободное чувство полета, я увижу под ногами город — твой и мой...

И я узнаю, что рассвет нам приносят на крыльях чайки...

А город еще верит человеку.



Игорь КАЧАЛОВ

Утверждает, что черный фрак был бы ему к лицу, хотя предпочитает светлые тона. К своему главному недостатку — высокой самооценке — относится терпимо.

* * *

На грани совершенства существуя,
Моя любовь к тебе живет одна,
Манящий след звериный так почуя,
Охотник рвется. Полная луна

Взошла на небо яростною тенью,
Моя душа стремится овладеть
Святыней, неподвластною мгновенью.
В мечте безумной легче поседеть.

ИМЯ

Как в имени твоём закончен путь земной,
Как светлые черты вдруг накрывает тьма,
Как холодна порой бываешь ты сама,
Так мимо мне идти далекой стороной.

Две наши линии не сходятся, набег
Предотвратит судьба, забывши обо всем,
Что в мир несет любовь, и в рвении своём
Закроет нам глаза, чтоб сократить наш век.

Две жизни — две беды. Окончится игра,
И снова солнца свет на землю упадет,
Забудется разлад, и кто-то подождет
Бегущую к нему на кончике пера.

* * *

Кончается декабрь, и улицы пустынные,
И звездная тропа запахла холодами,
Ночная тишина — надежная святыня,
А ветви и кусты поникли, отстрадали.

Проходят, торопясь, колеблемые тени,
Светильники в ночи, как редкостные гости,
А отзвуки в церквах торжественных служений
Напоминают нам о мысли и о росте.

Мы памятью зовем не храм, а подземелье,
И сумрак свеч несет желание болезни,
Когда-то были сны, теперь пришло похмелье,
А новым торжествам к лицу другие песни.



Арда ИНАЛ-ИПА

Чувство меры, изящество жестов, общественный темперамент.

МОРСКАЯ РАКОВИНА

Чаще всего суть вещей так и не появляется в нашем мире. Бродит где-то подальше от попыток дотронуться до ее обнаженности. Но есть несколько уловок заманить ее хоть ненадолго. И тогда, даже не успев разглядеть, по тонкому больному следу чувствуешь — путь ее прошел сквозь тебя.

* * *

Вот выходишь на берег. Находишь морскую раковину. Обхватываешь ее двумя руками и подносишь к губам. Отправив взгляд к горизонту, глубоко вдыхаешь и на длину выдоха вызволяешь из раковины ее перламут-

ЛОДКА

В городе, далеко от моря,
В комнате, близкой к небу,
Помнишь лодку?
За окном комнаты, в которой
До рассвета звучала наша тихая беседа,
Эта лодка, качаясь на теплой спине ветра,
Наполняла нас морской прохладой.
Но вот, когда малиновая щель едва приподняла
ночное небо,
Я попрощалась, прыгнула в лодку
И, оттолкнув мраморную пристань подоконника,
Отплыла с почти бесшумным всплеском.
Лодка глубже погрузилась в невидимую упругость.
И знаю, ей была приятна тяжесть ноши.
Под нами в парке фонарями отражались утренние
звезды.
Тогда, в чернеющем окне я видела тебя так ясно.
И взгляд, плывущий вслед за лодкой,
Нескоро растворившийся в рассвете.
Но только много лет спустя
В покое твоего лица
Сумела разглядеть
Морщинки ясновидящих предчувствий.

ВОЛНЫ

Комната моя — высоко над берегом,
Но бывает, что и она погружается в море.
Волны исчезновенья
пузырьков бирюзы из ночной воды
Обрушиваются на балкон,
Медленно, сквозь сомкнутые стекла дверей,
врываються внутрь
И накрывают меня с головой.
Свет лампы, настроенье и скрип кресла —
все поднимается морем вверх.
Погруженная в волнующийся поток,
с легкой головой,
Я вдыхаю влажный шум
и надолго наполняюсь морем.
Когда же белое шипенье так же спокойно,

движимое лишь своим желаньем,
покидает меня,
оставляя за собой узоры запаха водорослей,
И мысли, оседая во мне, вновь теряют свободу,
Я знаю: мы с морем — одной крови.

УСТАЛОСТЬ

Звезды капали в стакан,
Тревожа отражение ночи,
И сбрасывали в воду ртутный блеск.
Сквозь ломкую прохладу
Сочился свет.
Он впитывался алебастром пальцев,
ведущих к отдыхающему телу.
Тлел контур утомленного плеча
И матовой щеки,
И лба
над неожиданно открытыми глазами,
бродящими по опустевшим закоулкам тела.

Блаженно время перемирия с судьбой.



Виталий ШАРИЯ

Корни его генеалогического древа уходят в древнюю землю села Тамыш; посему давно вынашивает цикл рассказов «Тамыш — второй Париж». Автор книг, выходивших в Сухуми и Москве. Верен своим привычкам.

МАЭСТРО НА ОСТРОВЕ ГРЕЗ

Р а с с к а з

Поначалу все происшедшее с лауреатом Гонкуровской премии Морисом Пуатье до омерзительности точно напомнило ему кадры дешевого боевика. Внезапно потасший свет в коридоре маленькой гостиницы на Лазур-

ном берегу, навалившаяся сзади тяжесть чьей-то туши, сопение в затылок, затхло-сладкий запах хлороформа... Потом — пробуждение в богато обставленной гостиной с ухмыляющимся господином в кресле-качалке напротив. Господин был молод, черняв, одет с иголочки.

— Рад приветствовать вас, дорогой мой Пуатье, в моем загородном доме, — осклабился молодой человек. — Разрешите представиться: Марио Клозетти, один из многочисленных почитателей вашего таланта.

— И, конечно же, вы похитили меня только для того, чтобы без помех взять автограф... — растирая лоб и виски, произнес Пуатье. — Хочу вас, однако, разочаровать: мои финансовые дела сейчас далеко не блестящи... И, Боже, что за нелепая идея — похищать литератора, когда вокруг столько коммерсантов! Или вы рассчитываете, что мои читатели пустят шляпу по кругу?

— Ну что вы, маэстро, — расхохотался Марио, — у меня и мысли такой не было.

— Послушайте, мсье Не Имею Чести Знать, я буду краток. Если вы дадите мне сейчас перо и бумагу, я напишу жене. В течение трех дней она сможет собрать вам триста... ну, максимум триста пятьдесят тысяч франков. На большее, уверяю вас, рассчитывать не имеет смысла.

— Маэстро, — молитвенно сложил руки Марио, — мы пока явно не понимаем друг друга. Перед вами во все не тупоголовый мафиози, способный манипулировать жизнью одного из лучших прозаиков современности ради тривиального обогащения... Хотя ваша мысль относительно пущенной по кругу шляпы, признаюсь, кажется мне плодотворной. Наверняка нашлось бы немало меценатов и у нас, и за океаном, не позволивших исчезнуть таланту Мориса Пуатье в расцвете его творческих сил...

— Благодарю вас...

— Так что тезис о преимуществах похищения коммерсантов — довольно спорный... Но ближе к делу. Не хочется вас огорчать, однако оно имеет для вас гораздо более серьезный оборот, чем потеря трехсот тысяч франков. Чтобы суть была понятней, позвольте несколько слов о себе. Вам что-нибудь говорит имя Франческо Клозетти?

— Ммм...

— Это неважно. Мой папа — глава одной из могущественных семей корсиканской мафии. Сам не обремененный образованием, он сделал все, чтобы его единст

венный отпрыск, то есть я, мог окончить Сорбонну. Увы, мой достопочтимый папаша не подозревал, чем обернутся для нас обоих годы моей учебы — тем, что в итоге я отвернусь от фамильной профессии и пополнию собой ряды графоманов. Да, дорогой маэстро, я болен той самой неизлечимой болезнью, которая заставляет проводить бессонные ночи за письменным столом, исписывать горы бумаги, гореть в лихорадке творчества — и все это без малейшей пользы для общества и удовлетворения для себя. Многочисленные обращения в редакции и издательства лишь подтвердили первоначальный диагноз, поставленный когда-то еще в мои студенческие годы одним вашим коллегой: «Для того, чтобы стать писателем, недостаточно научиться правильно расставлять запятые». О, если б вы знали, мсье, с каким восхищением я читал и перечитывал произведения настоящих художников слова, какую бурю чувств, какой восторг вызывали у меня их страницы! И как я презирал в этот момент собственную беспомощную мысль, которая, подобно кудахчащей курице, не способна была взлететь выше насеста, в то время как мечты мои, подобно орлам, свободно и мощно парили в небе. И, признаюсь, ваш стиль, ваш язык, ваши образы восхищали меня всегда больше, чем стиль других писателей...

— Так чего вы, собственно, хотите — чтобы я провел с вами краткосрочные литературные курсы?

— Ну-ну, маэстро, я, конечно, бездарен, но вовсе не так глуп и понимаю, что таланту нельзя научить и научиться. Нет, все для вас гораздо трагичнее... Вчера утром вашу искореженную машину нашли в пропасти, в 30 километрах от Ниццы. В машине был обнаружен обгоревший до неузнаваемости труп мужчины примерно одного с вами телосложения и возраста... Нет-нет, не тревожьтесь, мои люди просто позаимствовали тело какого-то бродяги в одном из близлежащих моргов. А вот о чем пишут все сегодняшние газеты... — Марио бросил на столик перед Пуатье кипу изданий.

Веря и не веря своим глазам, писатель впивался взглядом то в одну, то в другую газетные страницы: заголовки и фотографии кричали о его, Мориса Пуатье, трагической гибели.

Марио выдержал тактичную паузу, давая Пуатье осознать случившееся, и лишь затем заговорил снова:

— Итак, маэстро, для родных и близких, для всего читающего мира вас уже не существует. Что ж, скажу я,

можно только позавидовать такому уходу. Вы ушли не немощным старикашкой, а полным сил мужчиной и именно таким останетесь в памяти потомков. Вы ушли, громко хлопнув на прощанье дверью, породив множество разговоров про обстоятельства вашей смерти и создав тем самым своим книгам дополнительную рекламу. Наконец, вы ушли в пятьдесят лет (напомню, что Бальзак закончил свой земной путь в сорок четыре, а Байрон — в тридцать два), то есть в достаточной мере вкусив свою долю земной славы. Поработайте же теперь на меня...

— Так вот зачем вам понадобилась эта чудовищная мистификация! Да по сравнению с вами ваш папочка — херувим.

— Но не таким ли — жестоким и беспощадным — вы всегда описывали мир в своих романах? А сами намеревались прожить жизнь в каком-то другом мире? Итак, мы находимся на крошечном острове в Средиземном море, который является моей частной собственностью и на котором нет никого, кроме персонала моей виллы. Для работы вам здесь будут созданы идеальные условия: у меня прекрасная библиотека, кинозал... Телевизор, радиоприемник, диктофон, персональный компьютер — все это в вашем распоряжении. Еженедельно с материка катером будут доставляться газеты и журналы. Можете хоть весь день гулять по острову, но не пытайтесь бежать: два моих человека будут повсюду ненавязчиво следовать за вами. Теперь непосредственно о работе. Вот тут, — Марио положил перед Пуатье несколько листов с машинописным текстом, — изложены основные сюжетные линии романа, который я давно мечтаю написать. Впрочем, вы можете менять эти линии по своему усмотрению.

— О, вы настолько великодушны! — вскинул брови Пуатье.

— Я рад, маэстро, — рассмеялся Марио, — что даже в такой нелегкой для себя ситуации вы не теряете чувства юмора. И это — предвестник успеха нашего будущего предприятия.

— Послушайте, Клозетти, или как вас там... А что, если я откажусь, или иными словами — пошлю вас к чертовой бабушке?

— Что ж, — пожал плечами Марио, — в таком случае мне придется признать неудачной свою операцию. Но для того, чтобы уничтожить все нежелательные сле-

ды, надо будет привести реальность в соответствие, — он постучал пальцем по фотографии на одной из газетных страниц, — с официальной версией. Учтите при этом, что даже могилы, которая была у Наполеона на острове Святой Елены, на этом острове я вам обещать не могу.

— Хорошо, еще один вопрос. Вы, как я понял, обладаете достаточными средствами, чтобы можно было совершить подобную сделку полюбовно...

— Да, я, безусловно, мог бы нанять пару борзописцев, которые сварганили бы для меня роман, потом, может быть, другой... Но ведь моя цель — опубликовать истинную вещь. Крупный же художник, вроде вас, на такую сделку никогда бы не пошел. Ведь не пошли бы вы, правда?

Пуатье надолго задумался. Марио не мешал ему размышлять. Наконец, маэстро поднял голову:

— Ну и как вы представляете мою дальнейшую жизнь?

— О, — оживился Клозетти, — это будет прекрасная жизнь. Ничто — ни окололитературная суета, ни интриги завистников — не будет отвлекать вас от творчества. Конечно, несколько обидно, что под сочинениями будет стоять не ваша фамилия, но... представьте, что это просто псевдоним. В конце концов, разве вы не слышали о прелестном обычае, который существует в Японии? Некоторые писатели там, достигнув сорока лет, сознательно исчезают с литературного горизонта, чтобы начать творить под новым именем... Здесь, на острове, вам будет обеспечен изысканный стол. Захотите развлечься — к вашим услугам теннисный корт, площадка для игры в гольф. Добавлю, что персонал моей виллы состоит не из одних только мужчин. Словом, все это гораздо лучше по сравнению с участием того обгоревшего трупа.

— Допустим, я приму ваше предложение. Но вам не приходило в голову, что литературная критика, которая очень хорошо изучила мой стиль, будет несказанно удивлена тем, как подобен ему стиль письма восходящей литературной звезды Марио Клозетти?

— Что ж, про меня напишут, что я очень хорошо впитал в себя плодотворные идеи моего литературного учителя. К тому же, выбирая вас в качестве, так сказать, компаньона, я учитывал, что в своих произведениях вы, как писала критика, всегда новый. ... А теперь разрешите показать ваш кабинет.

Спустя три с половиной года в одном из парижских издательств вышел в свет и сразу стал бестселлером роман никому до этого не известного начинающего прозаика Марио Клозетти «Когда боги безмолвствуют». Марио не успевал давать интервью газетам и телекомпаниям, а один из ведущих критиков, желая подчеркнуть эпическую мощь его прозы, тут же окрестил его «новым Пуатье».

...Промозглым февральским днем Марио сидел у камина на своей вилле на острове и вслух читал Морису Пуатье очередную хвалебную рецензию на роман «Когда боги безмолвствуют». Идиллию нарушили раздавшийся совсем рядом звук автоматной очереди и яростный лай собак. Через мгновение в комнату ворвалось несколько вооруженных полицейских. Марио не успел и пикнуть, как на его руках оказались наручники.

— Морис! — вскричал один из вошедших, маленький плотный субъект в штатском.

— Шарль! — прослезился, протягивая ему руки Пуатье...

— Это был мой последний шанс, — рассказывал маэстро через несколько дней на пресс-конференции в Париже. — Начисто лишенный средств общения с внешним миром, я решил передать весть о себе в зашифрованном виде. Помните то место в романе «Когда боги безмолвствуют», где мальчик Морис разговаривает со своими друзьями в пансионе и шлет потом на уроке одному из них непонятное послание, составленное с помощью тайнописи. Так вот, с точностью до мельчайших деталей я воспроизвел в романе реальный эпизод своего детства, который кроме меня наверняка должны были помнить еще человек десять воспитанников нашего пансиона, названные мной в книге их реальными именами. Я очень рассчитывал, что хоть кто-нибудь из них да прочтет этот роман, и в тексте той записки зашифровал изобретенной нами, детьми, и имевшей хождение в пансионе тайнописью всю информацию о себе: где я, что со мной, примерные координаты острова... Не скрою: особенно я рассчитывал именно на друга моего детства известного издателя Шарля Андре...

От ответа на вопрос корреспондента, знаменует ли этот случай, по его мнению, начало новой эпохи в истории гангстеризма, Морис Пуатье уклонился.

Спустя еще год в Париже вышли и тут же стали бестселлером воспоминания отбывающего тюремное заключение Марио Клозетти «Как я был великим». «Чудовищный язык, которым написана эта книжка, — отмечала одна из газет, — как ни странно, становится ее достоинством, ибо придает откровениям гангстера-графомана дополнительную достоверность». Другая газета рассуждала о том, что еще не известно, принесли бы ли Клозетти большую славу книги, написанные Морисом Пуатье, нежели эта скандальная история.

Впрочем, вскоре отклики на воспоминания Клозетти утонули в потоке сообщений о новой сенсации. Морис Пуатье исчез из своего дома в Париже, оставив сбивчивое письмо, в котором объявлял о решении провести остаток дней в уединении, занимаясь творчеством и не общаясь с внешним миром. «Я осознал, — писал он, — что счастливейшим временем моей жизни стали годы, проведенные на островке в Средиземном море».

Свои будущие местонахождение и псевдоним он оставил в тайне.



Надежда ВЕНЕДИКТОВА

Смотрит на свою жизнь со стороны, позволяя судьбе задерживаться на перекрестках или в тени кипариса. Сухумский залив — одна из координат мироощущения. Автор стихотворного сборника «Комплимент — оружие сильных...»

ИЗ ПОЭМЫ

«ЛЮБОВНЫЕ ПРОГУЛКИ»

... но что мне делать,
если в темноте,
по-городскому знойной и неполной,
перебивая запах олеандра,

неслись неистовые голоса
влюбленных, любящих
и признающих ночь прекраснейшей порою —

сначала ломкий голос прозвучал,
заставив быть внимательней к движенью
ночного воздуха:

«Как странно, что вы есть,
вы недосказанны, как куст лимона
и оглянувшиеся на дороге кони,
и так пленительны,
когда отказываете в поцелуе,
что я теряю голову
и выхожу на берег,
где никогда вы не были,
хотя я иногда таскаю вас с собой,
доказывая вам,
что горизонт — тире
между моим рождением и смертью,
что бесконечность льнет к моим губам,
совсем, как вы,
когда вы все-таки целуете,
и вы смеетесь, не подозревая,
что этот вздор я говорю затем,
чтобы вам снова захотелось снять одежды,
и вообще, черт возьми,
когда я наконец увижу вас...»

Потом донесся жаркий смелый шепот
из улочки, направленной, как флейта,
к заливу, чтобы вторить кораблям:

«Я умирала от любви и мысли,
что до твоих объятий меньше суток,
и цвел шиповник у тебя под мышкой,
как в гроте, где вода и сумрак».

Шел маленький старик, весь в белом,
и гордою посадкой головы
свидетельствовал всем,
что он любим,
а рядом, в мелкой подсыхающей канаве,
морщинистые от жары лягушки
кружком сидели и в сверкающее небо

бросали пылкие бессонные призывы,
и в круговой поруке их томленья
бродил июльский дух,
беспечный и многоликий обольститель,
мозолистыми пятнами вбивая
в их плоть окрестности и шум толпы,
смешавшей в суете своих хождений
зенит обедов с зеленью и перцем,
азарт и беспощадность солнцепека
и бремя прочного, как смех, безделья...

На пороге дома и своих 14-ти
замерла темноглазая девочка,
еще немного —
скрип двери и дорожная пыль на щиколотках,
и ей удастся смертельно влюбиться,
до отсутствия дыхания,
в статую, животное, звезду, человека,
в неуловимое и торжествующее.

Разошлись последние завсегдатаи, и она закрыла кофейню, подмела под столиками, долго мыла руки и шею, прислушиваясь к шагам прохожих, и мокрую мелочь, оставшуюся от щедрых клиентов, небрежно сгребла в карман. Потом она шла по освещенному берегу, кивая знакомым, встречала взгляды, в которых тяжелый бык рыл землю, и тугим движением бедра лепила цивилизацию по своему образу и подобию, как демиург, уставший от неудач и пришедший к самому простому решению.

Сидел на выступающем балконе,
сжав голову, забывший о покое —
он погружался мыслью в красоту,
надеясь обуздать свое смятенье,
но знаменитое двестишие Катулла
ему повсюду преграждало путь,
отбрасывая замкнутые тени,
и на замшелый пол упала ветка,
в которой прятал он прикосновение ветра,
вчера встречавшего ее у этих стен.

А под балконом
прогуливался плотный, лысоватый,
в домашних тапочках,

чуть сонный гражданин,
бранящий духоту,
и крался за ним
час исполнения супружеских обязанностей.

Две сестры, старшая в возрасте увядающей кожи и походки, тяготеющей к семейной степенности, и младшая, в волосах роза, ярко-пунцовая днем, а сейчас почти незаметная, приближаются к самшитовой аллее, они говорят о своих семьях, две путешественницы, отвага которых золотит ресницы, осторожно ступают они по месту недомолвок и иносказаний, пытаюсь нащупать общее и скрыть страх перед неведомым, проступающим в блеске кухонной посуды; с удивлением замечают они, что беседа их благоухает, кроткие знаки зодиака царапают ладони, и каждая предсказывает другой то, что ускользает в шорохе листьев.

На площади,
ближе к городской башне с часами,
он созерцал
благородное сияние своего облика
вокруг фонарей,
на спине проходящей женщины
он написал секрет долголетия,
в жестких стрелах конского щавеля
зашифровал полет повседневной мысли,
а потом вернулся домой,
пожелал семье крепкого сна,
на столе его ждали стакан молока
и письмо от родственников,
он отпил глоток и подошел к зеркалу —
там отразилась башня с часами.

Они стояли, медля расстаться,
в молчании он нашел пристанище
и обживал в нем поле за полем,
она отставала и, чтобы он понял,
чуть слышным вздохом послала в небо
надкусанную, как яблоко, нежность,
и темноту обожгли слова:
«я постоянно целую вас...»

Четвертую, самую длинную, ночь она проводила у ног покойника, тишина вытесняла ее и мертвое тело му-

жа из комнаты, она держалась одною рукою за стул, другой — за его ступню, наконец ей стало неважно, она позвала детей, и они вынесли тело в сад, в середину, подальше от глаз соседей. Она сорвала пучок травы у изгороди и положила к его лицу. Далекий собачий лай, как ступени, вел ее все выше, она обернулась, и его тело показалось ей таким маленьким, что она не поверила в их принадлежность одной ночи.

Кто,
луна или месяц,
женщина или мужчина,
смотрит в твоё окно так пристально,
что лоб и щеки твои бледнеют
от влюбленности и восторга,
торопись,
по крышам промчалась полночь,
черная, молодая, в обществе звезд и любовников,
и кипарис с лицом юноши
бросил ей вслед горячую дерзость,
от которой у женщин подгибаются колени...

В зарослях барбариса
он разместил
нестерпимо слепящие фрески суда над собой —
жадно следил он со стороны,
как душа его бродит в глубине этих сцен,
«я же мокрый, как мышь, — шептал он, —
если б я знал»;
сзади, амфитеатром, расположились
сотни и тысячи строгих незнакомцев,
с их появлением душа забыла о нем,
она была полновластной хозяйкою фресок,
и ее мастерство потрясало ряды
искушенных зрителей,
в изнеможении он уснул,
уткнувшись в корни кустарника,
и душа указывала на него,
как на достоверное свидетельство.

На набережной ссорились двое, уязвленные обоюд-
ной ревностью, она ударила его, как будто истина таи-
лась в пощечине, он вскипел, но подоспевшие друзья
крикнули, что жизнь прекрасна, широкоплечие, с креп-
кими ногами, они стояли перед ним, пританцовывая от

избытка здоровья, он расхохотался и гордо ответил, что четыре времени года боролись за обладание ее красотой. Она отошла от них, потому что их было слишком много, слишком много мира в мужском обличье, но они решили, что она хочет пройтись по свежему воздуху, и составили ей компанию, оживленно задирая прохожих.

На белоснежном скакуне
проехал,
на миг собою заслонив
кирпичный дом с чугуною оградой,
высокий всадник, защищавший берег
чуть более пяти веков назад,
его отвага сохранялась в воздухе
все это время, старики шептали детям
его слова перед лицом врага,
его осанка воина сквозила
в рельефе окружающих холмов;
проехал, и двенадцать девственниц
во сне зачали и родили сыновей,
могучих, рослых, совершивших подвиги
и жертвенно погибших за свободу.

Она дотронулась до лозы, теплая, шершавая, движение руки — жест, движение глаз — взгляд, движение души — ..., она усмехнулась, сравнила свое невежество с растением; облокотилась на перила и долго смотрела на город, сбегаящий к морю, темнота будоражила и таила в себе недозволенное, как кровосмесительные браки древности; затихающие звуки набережной, свисающие с балконов душистые венки и похищение сердец, жизнь в пределах одного объятья, молодой красавец со списком побед, миф об уходящих и возвращающихся влечениях, знойные формы общественного признания, таинство жизни твоего соседа. Она потянулась, и ночная влага, идущая с гор, стала ощутимее.

Грозно, празднично, исступленно
принимала земля в свое лоно
эту ночь истомившихся трав,
и две рыбы в старом фонтане
на луну неотрывно смотрели,
на деревьях пылала кора,
излучая легенды столетий,
и, как факелы, мчались в атаку
души мошек, тропинок и рек,

небо шло безошибочным следом,
догоняя чудесную мысль
о возможности в каждом дыхании
отыскать тот единственный смысл,

о котором я сейчас говорю,
глядя на залив,
чтобы сосредоточиться,
а собеседники нетерпеливо меня перебивают...

СОДЕРЖАНИЕ

Д. Зантария. Стихи	3
Л. Панцулая. Стихи	8
Н. Алхазов. Рассказ	12
Е. Чернова. Стихи	16
И. Гельбак. Стихи	21
Г. Абредж. Происшествие, которое не состоялось в «Чай-хане» Из преследующих по пятам воспоминаний детства. Рассказы	23
Г. Квициния. Стихи. Пер. с абхазского	27
И. Скрипаль. Медпункт. Июль. Рассказ	32
В. Габлая. Стихи	47
И. Хварцкия. День волчьего купания. Рассказ. Пер. с абхаз- ского	51
Е. Заводская. Стихи	61
Б. Бжания. Счастье одинокого парашютиста. Рассказ	64
В. Чирикба. Стихи	70
С. Сангалов. Взбалтывание коктейля	73
Л. Смыр. Стихи	80
Н. Шульгина. Задача для взрослых. Рассказ	83
Д. Шониа. Стихи. Пер. с грузинского	91
Ю. Соловьева. Во всем виноват архитектор. Статья	94
И. Качалов. Стихи	100
А. Инал-ипа. Стихи	102
В. Шария. Маэстро на острове грез. Рассказ	106
Н. Венедиктова. Из поэмы «Любовные прогулки»	113

Авторы публикации
АУКЦИОН
Анны
Уришвили

Судья
АУКЦИОН
Анны
Уришвили

Коллектив авторов
АУКЦИОН
Сборник

Художественный редактор П. Г. Цквитария
Технический редактор Л. И. Евменов
Корректор Е. Н. Заводская

Сдано в произв. 18.05.1990 г. Подп. к печ. 28.12.93 г.
Формат 84 x 108^{1/32}. Бум. книжно-журнальная. Физ. печ.
л. 3,75, Усл. печ. л. 6,3. Усл. кр.-отт. 6,4. Уч.-изд. л. 5,75.
Заказ 5452. Тираж 600. Цена 1 руб.

Издательство «Алашара», Сухуми, ул. Ленина, 9
Сухумская типография им. Ленина Управления по
печати при Совете Министров Абхазской АССР
Сухуми, ул. Эшба, 168

